

Белое пятно

Василий Павлович
Козаченко



- Козаченко Василий Павлович



Козаченко Василий Павлович

Белое пятно

Василий Павлович КОЗАЧЕНКО

БЕЛОЕ ПЯТНО

Степ охрестять блискавками...

Микола Чернявський

Перевод И. КАРАБУТЕНКО

КАПИТАН САПОЖНИКОВ

Нас было семеро.

Самому старшему, мне, в то время исполнилось уже двадцать шесть. Самой младшей, Насте - семнадцать.

Я, Александр Сапожников (или Сашко Чеботаренко), - командир в чине капитана.

Двадцатитрехлетний лейтенант Парфен Замковой - комиссар.

Двадцатипятилетний старший лейтенант Семен Лутаков - начальник штаба.

Двадцатилетний старшина Левко Невкыпилий - начальник разведки.

Рядовые Петро Гаркуша и Павле Галка (которых мы экономии ради называли просто "святые"), оба девятнадцатилетние, - минеры-подрывники.

Настя Невенчанная, конопатая хрупкая девчонка, - радистка в чине ефрейтора.

А все вместе составляли мы организационно-партизанскую десантную группу, которая была выброшена с парашютами на временно оккупированную территорию во вражеский тыл примерно в двухстах пятидесяти километрах от линии фронта.

Командировал нас туда в начале августа сорок третьего года отдел партизанского движения штаба одного из Украинских фронтов для осуществления диверсионных акций на коммуникациях врага и ведения разведки.

Я один из всей группы направлялся во вражеский тыл уже в третий раз. Все остальные - в первый...

Двадцать пять лет незаметно пролетели с того времени. Давно распрощался я со своей военной профессией, и военкомат перевел меня в запас второй очереди. Работаю главным агрономом совхоза. Есть у меня двадцатилетняя дочь - студентка университета. Мои же годы неуклонно и неумолимо, хотя опять-таки как-то словно бы и незаметно, приближаются к пенсионным. Все чаще, как говорится, дают о себе знать к погоде старые раны.

Вечером не сразу приходит сон. Подолгу лежу я с открытыми

глазами в темноте и все чаще вспоминаю те времена, всех своих тогдашних товарищей и ту короткую августовскую ночь. Чаще всего представляю себе тогдашнюю Настю, Петра и Павла, Яринку Калиновскую, и не раз и не два от этих мыслей и воспоминаний становится мне понастоящему... страшно.

Тогда, хорошо помню, никакой страх меня не брал.

Привык к опасностям, втянулся. А вот теперь, через двадцать пять лет, когда мысленно ставлю я на место семнадцатилетней Насти или девятнадцатилетней Калиновской двадцатилетнюю Яринку, родную дочь... Ставлю и спрашиваю себя: а вот если бы сейчас, сегодня, возникла такая необходимость, приказал бы ты Яринке идти на службу к гитлеровскому коменданту или среди ночи выброситься с парашютом на оккупированную врагом территорию? Спрашиваю и... не решаюсь ответить себе даже мысленно, ощущая, как мороз проходит по коже... Почему же? Неужели потому лишь, что Яринка родная дочь, а Настя или Калиновская - чужие? Но нет ведь!

Все мое существо протестует против этой страшной и позорной мысли... Уже тогда Настя была для меня, может быть, роднее всех на свете! Да и другие... Все они - и Яринка Калиновская, и Петро с Павлом, и Парфен с Левком... Значит, все это - и настроения, и чувства, и мысли, - наверное, от старости! А страх... Страх - от более глубокого осознания естественной для пожилого человека, простой и потому такой действительно страшной сегодня мысли: ну в самом деле, как можно было сбрасывать с самолета в тот кровавый ад, в пекло, в то звериное логово беззащитную, хрупкую семнадцатилетнюю девчонку, в сущности еще ребенка! Но ведь и сегодня я не отважусь поставить на место Насти родную дочь, потому что Яринка совсем, ну совсем ведь девочка... Дитя, да и только. Стоит лишь посмотреть, как она играет во дворе с котенком или гоняется по лугу за мотыльками. Ребенок...

Ребенок?! Но ведь ей уже двадцать! А Насе тогда было всего лишь семнадцать. А казалась она мне в ту пору совсем взрослой девушкой. Может, потому, что и мне сровнялось всего лишь двадцать шесть? Да и не приказывал я Насе, не толкал ее из самолета! Ни я, ни ктолибо другой. Сама рвалась туда таким ангелом-мстителем на шелковых крыльях парашюта, ни на минуту не задумываясь, какие опасности подстерегают ее...

Все мы тогда не задумывались над этим. Не было ни времени, ни условия, ни возможностей. Все мы тогда - и четырнадцатилетние, и двадцатишестилетние - чувствовали себя одинаково ответственными за судьбу, жизнь, честь нашей Родины, Земли, Народа...

Все это до времени сделало нас взрослыми и мужественными. И наверняка в тех условиях моя Яринка действовала бы точно так же, как и Настя...

И все же, когда я вспоминаю ту ночь, глубокое звездное небо и белый купол парашюта над притаившейся, загадочно темной землей, ощущаю вдруг запоздалый страх.

Даже теперь становится страшно за них, как за собственных детей. За Яринку и особенно, как это теперь ни странно, за Настю...

А вот тогда чувство страха, особенно чувство такого страха, было для меня, в самом деле, совершенно неизвестно. Для меня да, собственно, и для всех моих боевых товарищей. Потому что тогда бояться должны были не мы, а нас. И действительно, враги нас боялись. Мы падали сверху, как гром с ясного неба, на их поганные головы и сеяли во вражеском стане панику и ужас.

Впервые меня забросили во вражеский тыл минеромподрывником на железнодорожную линию неподалеку от Курска. Тогда из нашей группы остался, выполнив задание, в живых и возвратился на Большую землю лишь я один.

Вторично - уже начальником разведки - меня забросили в апреле сорок третьего на Сумщину. Во время приземления гитлеровцы в воздухе расстреляли командира и комиссара, и я вынужден был возглавить группу. Уже в середине мая меня, раненного в ногу, вывезли из партизанской зоны на самолете. Лечился я около двух месяцев.

А потом дал согласие выброститься за линию фронта в третий раз.

Назначили меня командиром группы и откомандировали Украинским штабом партизанского движения в распоряжение штаба одного из Украинских фронтов.

Линия фронта в то время почти надвое рассекала Донбасс, а штабные службы размещались в портовом городе на побережье Азовского моря. Вся группа, пройдя необходимые тренировочные занятия, уже ждала меня. Вместе готовились мы недолго. Ровно столько, сколько нужно было, чтобы ближе познакомиться и, как говорят, притереться друг к другу.

Хотя члены группы в таком деле были новичками, они казались мне надежными, подобранными удачно. Все шестеро добровольно изъявили желание направиться во вражеский тыл, собирались на задание охотно, даже с энтузиазмом.

Парфен Замковой перед войной служил в пограничниках, до этого был секретарем комссмольской организации одного из сталинградских полков. Он имел уже двухлетний партстаж и происходил из шахтерской семьи.

Семен Лутаков, человек молчаливый и сосредоточенный, что называется, врожденный штабист, пошел в десантники с должности адъютанта батальона. А молоденький красавец с тонкими черными усиками, Левко Невкыпильный имел уже три медали "За отвагу" и успел заслужить репутацию лучшего разведчика одной из дивизионных разведок фронта... Правда, меня поначалу беспокоила показная "партизанская" удаль и беспечность наших подрывников Гаркуши и Галки и вызывала некоторую тревогу хрупкая, гибкая, как подросток, радистка Настя Невенчанная... Однако я вскоре убедился, что хлопцы в совершенстве овладели своим минерским делом, а Настя, всегда замкнуто-серьезная, даже слишком суровая на вид девчонка, была просто талантливой, можно сказать, незаменимой радисткой, радисткой по призванию. К тому же все они были хорошо тренированными, смелыми парашютистами.

На Украине в то время уже действовало множество подпольных организаций, партизанских групп, отрядов и даже соединений. Не со всеми из них, особенно с теми, которые возникали стихийно, была связь у штаба партизанского движения. И вот в помощь им штаб тщательно готовил и посылал через фронт все новые и новые организационные, диверсионные и разведывательные группы.

Нас должны были сбросить в одну из степных областей, почти всю войну, по сути, остававшуюся недосягаемой как для штаба, так и для нашего командования вообще. Задачи перед нами ставили самые широкие и, так сказать, комбинированные: связаться с руководством подпольного обкома, который (доходили такие сведения)

уже в третьем составе организовывался и действовал в городе К. или где-то поблизости от него; разыскать в лесу на севере области партизанский отряд имени Пархоменко и, наладив связь со штабом, во всей своей деятельности базироваться на этот полумифический отряд; организовывать систематические диверсии на железнодорожной линии с двумя стратегически важными железнодорожными узлами; разведать пути передвижения немецких подразделений, расположение фашистских гарнизонов, характер и систему возможных оборонительных сооружений в верхнем течении Южного Буга.

Кроме того, устроившись и укоренившись, мы должны были приступить к изучению и усиленному "ожизнению" "Белого пятна", постепенно продвигаясь в глубь его степных просторов, налаживая связи с сельским населением, распространяя сводки Советского Информбюро, организовывая партизанские, подпольные разведывательные и диверсионные группы.

"Белое пятно"... Название это возникло не сразу. Хотя сам по себе факт привлек наше внимание, встревожил и насторожил с первой минуты, как только перед нами открыли карту.

Огромная, почти во всю стену, карта К-ской области, занавешенная черной шторкой, висела в недоступной для посторонних комнате партизанского отдела шгаба. Показывали нам эту карту за время учебы всего лишь несколько раз.

Верхний левый угол ее выделялся волнистым зеленым клином северных лесов, которые, перейдя границу соседней области, подходили чуть ли не вплотную к городу К. Весь этот зеленый угол был утыкан красными флажками, обозначающими группы и отряды, уже известные штабу из тех или иных источников. Три-четыре флажка возвышались и вокруг самого города. Неплотной цепочкой вытянулись они и вдоль западной границы области.

А вся центральная и юго-восточная часть карты была немой. Зияла как-то особенно резко подчеркнутой флаж=ками жуткой пустотой.

Когда черная шторка раскрылась перед нами впервые, мы молча, с чувством какой-то неосознанной тревоги рассматривали эту немую пустоту. Стульев в комнате не было. Изучали мы карту стол, прижимаясь плечом к плечу и лишь изредка обмениваясь короткими фразами.

Я изучал карту особенно пристально и тщательно. Но не только карту. Одновременно я изучал, конечно, и своих будущих бойцов, незаметно следя за каждым из них и за всеми вместе - такими еще молодыми, оживленными.

Следил за выражением их лиц, ловил слова, прислуши=вался к замечаниям, мыслям, предположениям и просто шуткам.

Будущий начальник разведки, всегда подчеркнуто сдержанный, Левко Невкыпильй небрежно и чуточку покровительственно (от желания казаться более взрослым и солидным) повел рукой вдоль разноцветных разводов, значков, букв и цифр карты и тихо, но многозначительно произнес:

- Terra incognita [Неведомая земля (лат.)].

Как потом выяснилось, Левко вообще был не прочь исподволь подчеркнуть свою образованность и начитанность. Он, вероятно, был высокого мнения о себе, своей славе опытного разведчика, своим владением немецким языком. И при случае напоминал об этом не совсем обычными или не часто у нас употребляемыми словами. Любил, между прочим, чтобы и звали его не просто Левка, а Львом. И что самое странное, его манера никогда не вызывала у нашей чуткой и насмешливой молодежи желания посмеяться. Более того, поведение Левка даже чем-то нравилось

нам.

Хотя именно в ту минуту у карты его глубокомысленная латынь не попала, как говорится, в цель. Потому что как раз в этот момент светловолосый и редкозубый Пет

ро Гаркуша, растянув в широкой улыбке свои полные розовые губы, ткнул пальцем в центр "Белого пятна" и звонко воскликнул:

- Настя, посмотри-ка сюда!

И когда Настя приблизила свое сосредоточенно-строгое веснушчатое лицо к карте, хмыкнул и весело добавил:

- Это именно здесь!..

- Что здесь? - не поняла Настя.

- А жаба!

- Какая жаба?

- А вот, написано! Попадешь вот сюда, тут она тебе и даст прикурить! Жабы, они конопатых любят!

Следом за Петром, присмотревшись к карте, весело хмыкнул чернявый горбоносый Павло Галка.

А Настя и не рассердилась, и не улыбнулась. Да она и вообще, кажется, никогда не улыбалась. Лишь пренебрежительно прищурилась на "святых" шутников и тихо, сквозь зубы, бросила:

- Говорила - макухи, макухи вы и есть!..

"Макухи" - это было у Насти почему-то самое крепкое ругательство.

Не поняв немудреную остроту парня, я тоже невольно взглянул на карту. Там над плоским ногтем Петра на пересечении степного тракта и крохотной речушки с каким-то татарским или половецким названием Кагарлык еле виднелся кружочек маленького села в самом деле со смешным названием Жабово.

Отодвинув обоих "святых", а вместе с ними и Настю в сторону, вплотную к карте подошел наш будущий начальник штаба, приземистый, коротко остриженный Семен Лутаков.

- Век здесь жил и ничего смешного в этом не виде, - уперся он указательным пальцем в карту. - Вот! - медленно начал водить пальцем вокруг села Жабова.

Водил и вслух читал: - Новобайрацкий, Терногородский, Балабановский, Скальновский районы. Все это мои родные, знакомые места. Среди ночи с закрытыми глазами могу пройти. Вокруг, как в песне поется, "ни лужочка, ни лесочка". Только вот здесь, за Подлесным, стало быть, изрядный для того края лесок, урочище Зеленая Брама.

Лутаков на минутку умолк, задумался. И все мы вдруг устремили взгляд на его круглое, полное лицо. А он, не замечая этого, пожал широкими плечами и тихо, будто к самому себе обращаясь, закончил:

- Одним словом, не то что партизанам, зайцу здесь негде укрыться.

- Ну, что же, - вздохнул почему-то в ответ на его слова наш будущий комиссар Парфен Замковой. - Так, значит, и запишем. - Он круто свел густые смолистые брови, и острые скулы под сухой смуглой кожей его сурового лица резко обозначились. - Так, значит, и назовем... как это и положено на всякой карте, "Белым пятном"...

Мы должны были приземлиться в полутораста километрах от "Белого пятна", у Каменского леса, в котором действовал отряд имени Пархоменко. Приземлиться почти вслепую, без видимых ориентиров, так как связь с отрядом наладить до сих пор не удалось. Имели мы о нем лишь отрывочные сведения от командира партизанской кавалерийской бригады, которая в марте этого года прошла рейдом где-то неподалеку от этих мест.

А знали все мы и помнили только одно: выбрасываемся над Каменским лесом, в районе села Казачьего. Место сбора - озеро Сорочье.

На случай встречи с руководством подпольного обкома меня вооружили определенными полномочиями и соответствующим документом. Документ этот обыкновенное удостоверение личности командира группы с печатью, авторитетней подписью и просьбой непременно способствовать и помогать нам - был написан на обыкновенной пишущей машинке в несколько необычном месте: на желтоватом подоле моей нижней солдатской рубашки. И чтобы предъявить этот документ, нужно было подол рубашки опустить в кипящую или, по крайней мере, в очень горячую воду или подержать над пламенем.

Несколько товарищей из группы вооружили еще и другими документами. Настя, например, имела паспорт с харьковской пропиской и удостоверение от бургомистра, что она-де эвакуируется к своей тетке, которая живет в К-ской области. Всем другим выданы были документы на имя макеевских, горловских и таганрогских полицаяев, которые эвакуируются вместе с немецкими учреждениями в далекий тыл, за Днепр.

Наконец меня вызвали в штаб и назначили время вылета: в ночь с третьего на четвертое августа сорок третьего года.

Лето стояло сухое, погода на удивление летняя. Хотя, правда, не для десантников: в тех краях по-настоящему темнело только в десятом часу, а рассветать начинало около пяти. Следовательно, продолжительность ночного полета самое большое - шесть часов. Лететь же туда и обратно около шестисот километров, учитывая разные неожиданности и вынужденные отклонения от курса над линией фронта или во вражеском тылу, так как небо - насколько

хvatало глаз - чистейшее, луна полная и светит с десяти вечера и до самого утра.

До степного аэродрома мы добирались на двух "виллисах" часа три в сплошном облаке пыли, так была разбита машинами и танками степная дорога. На выгоревшей полынной земле аэродрома несколько часов отдыхали в холодке, под крылом какого-то искалеченного самолета.

Поднялись в воздух, когда уже совсем стемнело, в половине одиннадцатого. Самолет, старенький тесный ТБ-3, со скрипом набирал высоту. Сначала было в нем тесно, темно и невыносимо душно. Особенно в нашем нелегком снаряжении, с парашютами. Когда поднялись выше, стал уже ощущаться холод.

Курить командир самолета запретил строжайшим образом, а разговаривать никому не хотелось. Угомонились, умолкли даже наши "святые" Петро и Павел.

Сбившись поплотней, прижимаясь друг к другу, молчала вся моя группа, углубившись, быть может, в самые важные сейчас для каждого мысли.

В общих чертах я представлял себе, с чем мы можем столкнуться. Имел определенный опыт и, несмотря на то что именно этот вылет представлялся сложнее предыдущих, чувствовал себя спокойно. Конечно, настолько, насколько вообще можно быть спокойным в подобной ситуации.

Я догадывался, какие мысли и чувства тревожат сейчас каждого из новичков. Кто-то волнуется и, сдерживая это волнение, больше всего боится показать его перед другими. Другой страстно желает, чтобы полет закончился как можно скорее. Третьему хотелось бы растянуть его как можно дольше. И у каждого в темноте перед глазами целый мир, сложный, многокрасочный и переливающийся, как в калейдоскопе. Мир родных, дорогих лиц, яркий мир уже прожитой жизни и призрачный, запутанно мерцающий - жизни будущей.

Я уже переживал все это. Однако ни советовать что-либо, ни делиться своим опытом, ни тем более утешать кого-нибудь сейчас не мог и не хотел. В конце концов, все, что надо и можно сказать, уже сказано. А опыт...

Не всегда твой опыт пригоден для другого. К тому же бывают подчас такие минуты, когда просто бестактно навязывать кому-то себя и свои чувства.

Парашюты у нас были автоматические. Хотя, в случае необходимости, можно было воспользоваться и кольцом. Обо всем остальном твердо договорились со штурманом еще на земле: "приготовиться" - открытый бомбовой люк; "прыгай" - сирена; чтобы приземлиться наиболее плотно, прыгать друг за другом, не

задерживаясь ни на миг, одновременно с крыла, через боковую дверь и через бомбовой люк...

В какой-то миг (бывает такое ощущение), когда самолет уже набрал высоту, показалось, будто он остановился на месте и неподвижно повис в воздухе. Повис и висит. Невыносимо долго, бесконечно и, главное, неизвестно, когда тронется с места. Вышел я из этого состояния, вероятно, через час. Привели меня в чувство странные и беззвучные вспышки каких-то шаровых молний в темноте, справа и чуточку ниже, под крылом самолета.

Спустя час, вероятно, мы вышли на линию Днепра, нас обстреливали зенитки, и где-то слева метался в серой мгле, нервно вылавливая нас, луч прожектора. А самолет круто забирал вправо и вверх...

Через полчаса нас обстреляли еще раз. Самолет забрался еще выше. Стало невыносимо холодно.

А потом, не уловив мгновения, когда это случилось, я заметил прямо у себя под ногами открытый люк. "Приготовиться!.." Когда же именно он открылся? Как это я не заметил? Быть может, уже давно? Быть может, была и сирена, которую мы за шумом мотора не услышали?

И вот... в темноте тесного самолета возня, общее движение. В лицо резко бьет холодная струя. Усиливается шум мотора. Пронзительный воющий звук с болью врывается в уши. Перед глазами на миг возникает тусклый прямоугольник дверцы с голубоватой точечкой далекой звезды в верхнем углу.

Первым, как и было условлено, исчезает в этом прямоугольнике начальник разведки Левко Невкыпилий. За ним бесплотными тенями почти одновременно прыгают Петро с Павлом. Настя, что-то там на себе поправляя, задерживается на несколько секунд. Парфен Замковой и Семен Лутаков бросаются следом за нею тоже почти одновременно: Замковой в дверь, а Лутаков в люк. В самолете сразу же становится просторно. Чья-то рука ложится мне на плечо. "Штурман", - мгновенно фиксируется в голове, и я, уловив свою очередь, рывком бросаюсь к люку. Бросаюсь и... зацепившись ногой, останавливаюсь... Да... Лутаков... Приземистый, широкоплечий Лутаков в ватной стеганке, с вещмешком, автоматом, гранатами и тяжелой, килограммов на двенадцать, батареей питания для радиации, которую мы, нарушая инструкцию, отобрали у Насти, застрял в узком для него люке. И, на какой-то миг растерявшись, вместо того чтобы оставить начальника штаба на попечение штурмана и скорее выбрасываться в дверь, я начинаю помогать Лутакову. Нащупываю у него за спиной и поправляю автомат, проталкиваю мешок с вещами и продуктами... А тем временем проносятся

секунда за секундой. Проходит, быть может, целая минута, а то и вечность. Лутаков в конце концов проваливается в отверстие люка и мгновенно исчезает...

А я, вместо того чтобы броситься следом за ним, почему-то возвращаюсь назад и вываливаюсь на крыло...

Короткий миг плавного сползания. Знакомый уже резкий провал, когда кажется, будто все внутренности подкатили к самому горлу, чувствуешь острый, болезненный свист и рев в ушах. После этого такой сильный, что отдается болью во всем теле, рывок, громкий, будто выстрел, удар распутившихся строп и... тишина. Внезапная, неожиданная, всегда, сколько ни прыгал, поразительно полная и глубокая тишина. Будто все и сразу куда-то провалилось...

Над головой, заслонив все небо, белый купол парашюта. А сам я, кажется, неподвижно повис над мутновато-серебристой, залитой призрачным лунным светом бездной...

Вниз, в ту загадочную и страшную бездну, которая встретит меня неизвестно чем - кустами, деревьями, столбами, речкой или автоматными очередями, - лечу, кажется, дольше, чем следовало бы... Кажется?.. Или же наш самолет и в самом деле забрался так высоко?

Ночь лунная, тихая, безветренная.

Я стремительно падаю вниз. Земля сереет подо мной невыразительно, тускло. Что там? Лес, на который нас планировали сбросить? Однако то, что виднеется внизу, на лес словно бы не смахивает. Что же тогда?

И где он, этот Каменский лес, в котором, по нашим расчетам, должен базироваться партизанский отряд имени Пархоменко?.. Но, что бы ни было, прежде всего на всякий случай нужно предохранить глаза...

Закрыл лицо согнутой в локте рукой. Подогнул ноги, вытянул носки и почти в тот же миг коснулся ими мягкой земли. От неожиданности упал на колени, резко отбросил корпус назад, не удержав равновесия, свалился на правый бок, и, парашют сразу же прикрыл меня сверху.

Несколько секунд, всего несколько секунд в темноте под парашютом. Слух напряжен до предела. Вокруг тишина. И в тишине, никем, вероятно, не пуганные, рьяно свиристы, заливаются кузнечики.

Подо мной сухая высокая стерня...

Опасности, кажется, нет. Выползаю из-под парашюта и, не освобождаясь от строп, не поднимаясь на ноги, всматриваюсь в часы. Стрелки светятся в сумерках. Хотя потребности в этом фосфорическом свете и нет. Ночь такая лунная, что на часах

можно прочесть даже мелкие цифры. Десять минут третьего. Эге!.. Выходит, летели мы изрядно, чуть ли не четыре часа. Хотелось бы только знать, куда же нас занесло.

Лежа освободился от парашюта, еще какой-то миг прислушивался и, не услышав ничего подозрительного, поднялся на ноги и огляделся вокруг.

Степь... Ровная, бескрайняя - голая сухая стерня - степь расстилалась во все стороны.

И ни малейших признаков жизни: ни человека, ни зверя, ни птицы. И не то что леса, ни единого деревца или кустика! Какие уж там столетние дубы, орешник, клены, лесное озеро! Какой там отряд имени Пархоменко! Вот, оказывается, чего стоит одна минута! Застрял человек в люке, и пожалуйста! А ко всему этому еще и значительная высота - могли рассеяться на много километров!

Степь, стерня. Тускло-невзрачный, размытый горизонт. Ни овражка, ни лощинки. И даже намек на какое-либо жилище, лесок или хотя бы лесополосу... Ну, лесополоса-то, конечно, где-то должна быть! И человек...

По крайней мере, один! Начальник штаба Семен Лутаков. Ведь я выбросился почти следом за ним. И - странно! - так нигде и не заметил его. Ни в небе с парашютом, ни здесь!

Еще раз с надеждой осмотрелся. Пустота, тишина, стерня. Кузнечики стрекочут. Да луна, полная и веселая, скатываясь уже к западу, повисла на звездном небе, уставилась на меня и улыбается насмешливо: ну, дескать, что ты теперь делать будешь? Не то что копны, валочка, охапки соломы нигде не оставлено! Парашют и тот негде спрятать. Придется тащить с собой. А куда?

Поднял глаза к небу, нашел Полярную звезду, сориентировался по ней...

Стоять да размышлять долго - нет смысла. Ничего путного, стоя на месте, не придумаешь. До утра ведь не так уж и далеко. Значит, надо трогаться. И трогаться, если уж думать о лесе, обязательно на север. Лесополосы, если они здесь есть, все равно должны тянуться вдоль и поперек. В этой ситуации на жилище набредешь, по всей вероятности, лишь случайно. Точно так же случайно, но вполне вероятно, можно наткнуться... ну по крайней мере на Лутакова. Можно было бы подать условный сигнал свистком. Но тут и так каждый стебелек виден чуть ли не за версту! А любопытно все же, черт возьми, куда это я попал?!

Кое-как свернул парашют, перебросил через плечо, автомат перевесил на грудь, пистолет вложил в верхний карман зеленой куртки и тронулся на север. Луна оказалась у меня за спиной и чуточку слева. А тень моя, все удлиняясь и удлиняясь,

продвигалась передо мной, скошенная чуточку вправо. Под ногами тихо шелестела шершавая стерня, и кузнечики, разбрызгиваясь во все стороны из-под сапог, умолкали на краткое мгновение лишь для того, чтобы тотчас же продолжить свою песню у меня за спиной.

Иду десять минут... полчаса... уже почти час, а вокруг так ничего и не изменилось. Степь и степь. Голая стерня и монотонное, какое-то мертвящее стрекотание кузнечиков. Луна опускается все ниже, ее зеленоватобелый диск заметно тускнеет, наливается вишневой краснотой, и от этого тень моя все удлиняется и удлиняется, очертания ее блекнут, стираются.

Иду. Неизвестно где, неведомо куда. Неприятное ощущение, хотя это в моей практике не впервые.

А как же они? Настя, "святые" да и все остальные?

Ведь они в такой обстановке впервые! Не сказал бы, что очень удачно все началось. Только что нас было семеро.

И вот за какой-то миг - никого. Словно их и не было.

Луна все увеличивается, опускаясь к самому горизонту. Будто я незаметно поднимаюсь вверх по склону какого-то огромного пологого бугра или косогора. И это ощущение не обманывает меня. Через некоторое время впрямь замечаю, что горизонт передо мной поднимается все круче, все выше и приближается. Ровный, темный, будто по ниточке обрезанный. Вот он - рукой подать!

И сразу же над ним, прямо перед самыми глазами, звездный занавес неба.

Шагаю энергичнее, все ускоряя и ускоряя ход. И горизонт, вместо того чтобы отдаляться, уходит от меня, как это бывает всегда, приближается, движется навстречу с жуткой неправдоподобностью. Останавливаюсь, встряхиваю головой, но, как только трогаюсь с места, сразу же трогается мне навстречу и четкая линия горизонта.

Шаг... десять... сорок, быть может, пятьдесят... Под сапогами затрещал сухой бурьян. Стерня закончилась, осталась где-то позади. Мелкая борозденка, сухие будылья, снова бурьян, глубокая, по колено заросшая чертополохом канава, и... горизонт вдруг исчез, провалился, упал прямо мне под ноги.

Высокий пустынный степной грейдер тянется вдоль хребта длинного степного пригорка. По одну сторону стерня. По другую, прямо передо мной, низкорослая разреженная кукуруза. Ровными рядками сбегает она вниз, теряется в предрассветной мути. Горизонт исчез, отошел, отбежал далеко-далеко, бог весть куда. Мрак вокруг какой-то белесо-мутный и непроглядный. Его уже не пробивает свет низкой луны. Только где-то очень далеко,

вероятно на самом дне этой мути, полыхает пожар.

Что же это горит? Скирда соломы, копна, стожок или, быть может, несколько домов одновременно? Дыма отсюда не видно. Одно лишь беззвучное, жутковато-тревожное пламя переливается, мерцает то белыми, то красноватыми языками. И такая же жуткая, такая же тревожная тишина вокруг. Ни звука, ни голоса. Если, конечно, не считать мертвенного, сухого свиристения куз= нечигов.

Напрасно напрягаю я слух и зрение.

Лишь непроглядная мгла, далекие тихие пожары и кузнечики...

А я блуждаю тут уже более часа. Скоро уж, пожалуй, начнет светать. И что тогда делать в голой, незнакомой степи?

Решаю свернуть направо и держаться дороги. Глядь, и попадется какая-нибудь вешка, какой-нибудь ориен тир... Переступаю глубокий кювет и двигаюсь вдоль кукурузы. Она еле достает моих колен. В случае чего хоть слабое, но все же укрытие. Прилег, и тебя уже не видно.

Иду вдоль дороги. Слева далекий пожар. Справа четкая темная линия грейдера и телеграфные или телефонные столбы с оборванными... да, и здесь, казалось бы в глубоком тылу, с оборванными проводами. Возможно, какая-то старая, забытая богом и людьми линия.

Закончилась кукуруза. Твердое, заросшее хилой травой, вероятно, несколько лет не паханное поле... Хоть бы крохотный, самый ничтожный ориентирчик! И вдруг - острый смрад горелой резины. Такой здесь неожиданный и... знакомый, будто на каком-нибудь прифронтовом шоссе... Этот запах словно бы пробуждает от сна, сни= мает усталость и настораживает. Останавливаюсь и сразу же осознаю - светает!

А впереди в кювете, перевернутая набок, лежит разбитая обгоревшая машина. И впечатление такое, что горела она еще этой ночью. Хотя дорога по обе стороны и безлюдная, а степь пустая. И разливается вокруг тебя такая глубокая, извечная тишина, что не верится, будто здесь мог произойти взрыв, всего лишь несколько часов назад уничтоживший эту машину.

В серебристом рассвете становится хорошо видна вся дорога впереди. Мягко изгибаясь, спускается она к неширокой пойме узенькой речушки. Дальше через бетонный, чудом уцелевший здесь мостик вырывается на противоположный пригорок и, прорезав небольшое, молчаливо замершее сельцо, исчезает в бескрайней степной дали.

Пойменный луг начисто выкошен или вытоптан.

Лишь кое-где низенькие обломанные кустики лозняка.

Да еще темные лоскуты осоки над водой. И селцо голое, ободранное. Хаты в большинстве своем без крыш.

Просто потолки и на них вороха почерневшей соломы.

Даже деревьев, не говоря уже о садах, не густо. А улиц всего две. Одна вдоль дороги, а другая поперек, через огороды к речке. Село дворов на пятнадцать. Черт возьми, интересно все-таки узнать, куда я залетел!..

Слева от дороги пригорок, седой от полыни, которая росла здесь, вероятно, еще при половцах, глубоко пропахан узким, с глинистыми обрывами оврагом.

Наконец я избавлюсь от парашюта!

Место для него нашлось в глубоком русле пересохшего ручья на самом дне оврага. Вкладываю его туда, прикрываю глыбой влажной рассыпчатой глины, притаптываю ногами (теперь никто на него не натолкнется, по крайней мере до первого дождя) и направляюсь дальше.

По глубокому буераку прохожу к лугу, ложусь за кустом пожелтевшего, привядшего конского щавеля, присматриваюсь и прислушиваюсь.

Над поймой белыми хлопьями туман. И справа, гдето вдали, в излучине речушки, торчат сиротами три старые-престарые, узловатые и обломанные вербы.

Слева мостик. Тот самый, на бетонных опорах, с цементным настилом. А сбоку, на высокой насыпи, столбик и широкая дощечка, прибитая поперек...

На противоположном пригорке, совсем рядом с мостиком, ощерилась ободранными стропилами одинокая хатенка. Прилепилась одна, в сторонке от улицы. Неогороженный дворик. Несколько вишенок. Старый перекосившийся хлевушок с обвалившейся стеной. Узенькая полоска огорода вдоль насыпи к речушке. И от хлевушка чуть ли не до самого берега темная ленточка коноплиматерки.

Село пустое, будто брошенное людьми. Ни лая собак, ни пения петухов, ни даже скрипа дверей не слышно.

Немного переждав, решаю и неторопливо, уверенно, не пригибаясь, иду через луг напрямик к этой избушке. Перейдя речушку вброд (вода достигает только до щиколотки), поднимаюсь на насыпь. Присев на корточки, всматриваюсь в столбик перед мостиком. На почерневшем от солнца и дождей прямоугольнике доски четко, ясными, хотя и малость выцветшими латинскими буквами написано: "Schabове". Что же это по-нашему?

Шабове или Шабовё? И где оно может находиться?..

Карту, конечно, здесь разворачивать и рассматривать никак

невозможно. Уж потом, где-нибудь там... Да и не помню, чтобы на карте было такое... А все же... Постой!

Что-то, однако, словно бы знакомое! Где-то уже вроде бы слышал нечто подобное., Шабове., Шабове... Что-то словно бы вертится на языке... Но вспомнить при всем желании никак не могу! С досадой и надеждой пристально всматриваюсь в эту пометку и... в правом уголке доски, в самом низу, замечаю совсем уже выцветшие корявые разводы химического карандаша. Буквы маленькие, бледные, писанные, видимо, давно и торопливо, однако постой, постой... наши буквы! Ша... бово... Да нет же!

Какое там "ша"! Ну да, в самом деле! "Жа"! Ну конечно же только так: "Жабово"!

И вот, скажи на милость, прежде чем постичь весь ужас того, что связано с этим словом, в голову приходит глуповатая, брошенная кем-то из моих "святых" еще там, по ту сторону линии фронта, у той карты, фраза:

"...тут она (то есть жаба) тебе и даст прикурить!"

...Ну и ну! Нужно же такому случиться!.. В самом деле Жабово. Ни за что бы не поверил! Наверняка то самое Жабово! Та самая terra incognita неведомая земля! Самый, можно сказать, ее пуп. Получается, выбросили нас, как слепых котят, по крайней мере в полтораста километрах от того места, в которое целились.

Как же это произошло?

Но... Разве теперь, в эту минуту для меня не все равно? Сразу же чувствую, как я устал, выбился из сил, проголодался, как тяжкий груз многодневной усталости от тренировок, странствий, самолета, прыжков и ночных блужданий давит мне на плечи и пригибает к земле.

Но... спокойно, спокойно. Главное - без паники.

Еле пересиливая себя, свою усталость, почти отчаяние, разочарование, я медленно, грузно сползаю с насыпи. Сползаю и, скрываясь в серой мгле рассвета, пригибаясь, с трудом шагаю вдоль полоски высокой конопли.

Ноги еле-еле передвигаются, поясницу ломит, ремень автомата больно трет шею, а в ноздри, в грудь набивается резкий, густой - кажется, и не продохнешь - запах перезревшей конопли...

Вот тебе и Каменский лес, вот тебе и Сорочье озеро, вот тебе и отряд имени Пархоменко!..

Однако же и воняет эта проклятая конопля! Но деваться мне некуда. Сворачиваю с еле протоптанной дорожки и пробираюсь в заросли конопли. Конопля жесткая, густая и высокая, как лес. Пробиваюсь к середине, стараясь не ломать стеблей и не оставлять после себя следа. Потом осторожно ложусь у самого

краешка напротив перекосившегося хлевушка. Расстегиваю воротник, располагаюсь поудобнее и, отодвинув от глаз жесткие стебельки, затихаю. Теперь (если, конечно, за мной никто не следил) меня не видно никому, а я вижу и могу следить почти за всем. Прямо передо мной, всего в нескольких шагах, хлев. Ободранные рыжие стены, возле двери несколько снопиков кукурузы, вязанка сухих подсолнухов. Дальше неогороженное подворье, густо заросшее травой. Курчавится она до самой улицы, почти совсем затягивая две, наверное, очень давние, теперь еле заметные колеи. Справа давно не мазанная, исхлестанная дождями хатенка. Два окошка, некрашенная дверь сбита из четырех досок, истертый порог и перед ним плоский темный камень. И прямо из-под самого камня трава-мурава. Густая, зеленая, на которой даже и тропинки не видать. Быть может, здесь никто и не живет? Однако ж...

от улицы две вишенки, дальше кусты смородины, под окнами яблонька, и на нижней, срезанной ветке совсем еще новый кувшин. А прямо перед моими глазами - заметил я это не сразу, - у самой грядки конопля, рукой можно дотянуться, что-то длинное (не поймешь что), прикрытое чистенькой полосатой дерюжкой. Ну что ж...

Полежим, подождем, посмотрим... На дворе уже совсем рассвело, день, вот-вот взойдет солнце. Стало быть, торопиться, а главное, деваться мне все равно некуда.

Но солнце, оказывается, всходит не так уж и быстро.

Пока око брызнуло ослепительно белым веером из-за бугра, належался я и натомился в этой мертвой, словно бы замороженной тишине! Вымерли они все здесь или, может, их выселили гитлеровцы? Если так, можно отлеживаться тут хоть до второго пришествия. Однако не ложится! Снедает нетерпение, мучат сомнения, хочется двигаться, хочется поскорее что-нибудь выяснить. И я не удержался: помимо воли, забыв об опасности, подтянулся на локтях и, осторожно просунув руку, тихонько потянул за кончик полосатой дерюжки. Потянул и... сразу же инстинктивно с испугом отдернул руку... Чего-чего, а вот чтобы из-под дерюжки показалось лицо... мертвое... конечно же мертвое человеческое лицо... никак не ожидал!

Ну и ну! Соседство в самом деле неожиданное, ничего не скажешь! Лишь через несколько минут пересиливаю оторопь и заставляю себя присмотреться повнимательнее.

Уже заостеневшее лицо. Желтый ровный нос заострился.

Восково-желтое ухо. А щека потемнела и втянулась. Рыжеватые, коротко стриженные, с челочкой на лбу волосы. На висках запеклась кровь. Молодой... Под голову подложена

пилотка. Обтянутое голубовато-серым мундиром острое плечо, и на нем измятый ефрейторский погон... Немец!

Торопливо прикрываю его дерюжкой и отползаю подальше в коноплю. Вот тебе, оказывается, и "Белое пятно"! Вот тебе и terra incognita!

А в голове уже цепляются одно за другое и этот мертвый немец, и опрокинутая обгоревшая машина, и вчерашний (или, вернее, сегодняшний) далекий пожар!

И вместо того чтобы впасть в отчаяние от этого ужасного соседства, да и вообще от положения, в котором я оказался, я вдруг нежданно-негаданно ощущаю острый прилив бодрости. А на душе от этого становится яснее и надежнее... Вот тебе и глухая степь... Вот тебе и окрестят ее молниями...

Положение мое, однако, все же безвыходное. И как только я попал в эту вонючую коноплю?

Никто, конечно, не смог ответить на мой вопрос. Даже и потом, через двадцать пять лет.

Неверный расчет маршрута? Сбились с курса во время обстрелов? Повреждены зенитками приборы? Или же и в самом деле не хватило времени, не выдержали нервы штурмана, и он, чтобы успеть возвратиться через фронт затемно, выбросил нас в спешке где пришлось?

Кто знает! Тайна эта так и останется нераскрытой. Ибо в тот же предрассветный час, быть может, даже именно в те минуты, когда я пробирался к своей конопле, на аэродроме с нашего самолета приняли последний сигнал.

Где-то в районе Запорожья попал он под плотный огонь зенитных батарей, был подбит, загорелся, и экипаж - летчик и штурман-радист - погиб.

Лежу в соседстве с мертвым гитлеровским ефрейтором. Положение складывается довольно трудное. Ведь если кто-то пристроил здесь этого укокошенного гитлеровца, да еще и дерюжкой прикрыл, так должен за ним явиться. Неизвестно когда, в любую минуту.

Взвесив все это, принимаю единственно возможное в этих обстоятельствах решение: оставаться в конопле, лежать тихо и наблюдать. И ежели эти наблюдения не подскажут иного выхода, пересидеть в конопле до следующей ночи.

План не хуже и не лучше всякого другого. Но... что, если явятся за ефрейтором немцы? И если с ними будет еще и собака? Можно, правда, понадеяться на эту удушливую коноплю, острый, невыносимо острый запах которой станет для меня спасением. Однако лучше уж приготовиться к худшему. И я, пока вокруг тишина и безлюдье, устраиваюсь поудобнее. Под руку пистолет,

перед самым лицом автомат, ослабляю пояс, поудобнее прикрепив на нем гранаты в расстегнутом подсушке. Потом, не снимая с плеч мешка, достаю бутерброд из "энзе"

к принимаюсь завтракать, не обращая внимания на соседа.

А тем временем из-за хлевушка-развалюшки, из-за крутого, седого от полыни и чабреца бугра выкатывается красное заспанное солнце.

С первыми лучами сразу же, словно по команде, начинается в селе какое-то движение, возникают явные признаки жизни. Конечно же не полные, не те характерные для летнего сельского утра, к которым я привык. Ни лая собак, ни мычания коров, ни веселой переключки голосов, ни даже куриного кудахтанья или пения петухов я не слышу. Хотя, правда, и странно было бы услышать такое в конце второго года оккупации... Вместо всего этого где-то там, в глубине улицы, гулкий, неожиданный удар: дверь хлопнула, свалился ли какой-то столб или ударили топором по бревну, кто ж его знает! Затем послышался скрип. И теперь уже наверняка можно было сказать, что это колодезный журавль, потому что сразу после этого звонко брякнуло ведро. Донеслись приглушенные человеческие голоса. Раздались частые-частые удары топора. В другом месте косу начали клепать, и гулкие удары железа по железу раскатились вдоль поймы, понеслись гулким эхом за степные бугры.

- Микита! Слышь, Микита! - вдруг звонко стрельнуло словно бы у меня над самой головой. Я даже вздрогнул.

С улицы из-за хлевушка выскочила, проложив за собой на влажной от росы траве темный след, девочка.

Стройная, высокая, с туго заплетенной косой. Ноги босые, загоревшие на солнце до черноты. На ней коротенькое, явно городского покроя синенькое платьице, из которого девчонка давно уже выросла. Вбежала с улицы, остановилась посередине двора и зовет громко да весело, так, будто ничего не случилось - и войны никакой нет, и нет этого мертвого ефрейтора:

- Микита! Слышь, Микита!..

Это было первое живое существо, которое я увидел здесь. И оно так не гармонировало с окружающим, суровым и мрачным, что мне даже не по себе стало.

На голос девочки, будто проснувшись, щелкнула задвижка. Скрипнула, приоткрывшись, медленно отошла в глубь сеней дверь "моей", до этого казалось, нежилой хаты. Переступив через порог, остановился на темном камне парень или мужчина, только очень щупленький и сухощавый. Прядь непричесанных темных волос спадает ему на глаза; вылинявшая, с расстегнутым воротником солдатская гимнастерка не подпоясана. Широкие

рыжие латанные брюки и стоптанные сандалии на босу ногу. Настороженно, коротко глянул он в мою сторону, вернее, в сторону того, что было под дерюжкой.

- А эта дрянь еще здесь? - перехватив его взгляд, так же звонко спросила девочка.

"Ого!" - радостно отметил я. И потом каждый раз, когда вспоминалась мне эта девочка в городском платье, уже ставшем ей тесным, девочка, которую встретил и увидел я в самом центре неведомого и загадочного "Белого пятна", у меня всегда становилось как-то радостно на сердце.

На ее вопрос хозяин хаты, которого звали Микитой, не ответил. Вместо этого, отведя взгляд от дерюжки, спросил сам:

- Ну, зачем звала, Оксанка?

- Пойдем мы сегодня за колосками или не пойдем?

- А почему же?... После полудня, может, и пойдем.

- Я могу и одна... Только бабуса не пускает. Боится!

- Да, да... Я и говорю... Туда, к полудню, - как-то невпопад или словно бы не расслышав, продолжал Микита. - Я тогда зайду.

- Я буду ждать! - звонко бросает Оксанка, поворачивается и сразу же исчезает так же неожиданно, как и появилась.

Ну вот, есть, оказывается, в этой хатенке живые люди.

Теперь внимание! Следить, запоминать, делать выводы:

сколько их здесь, что будут делать? Чем дышат? Если судить по той девчонке, люди здесь хорошие. Хотя торопиться с выводами рискованно.

Микита ступил на росистую траву и неторопливо побрел за хлев. Вышел оттуда с охапкой сухих будыльев в руках. Вошел в сени, не прикрыв за собой дверь. Сразу же после него появилась во дворе женщина с ведром и лопатой. Она прошла неподалеку от меня в огород, нарыла картошки и быстро вернулась, старенькая, но крепкая еще, высокая и сухощавая бабуса. В рябенькой, перехваченной поясом кофтенке и широченной, длинной, почти до пят, синей поношенной юбке. На ногах чуни, на голове темная косынка. Лицо строгое, тяжелое, с крупными выразительными чертами. Этот Микита, если бы поставить его рядом с женщиной, казался бы мальчонкой, такая была она стройная и величественная, несмотря на худобу.

Вскоре из трубы повалил легкий синеватый дымок, и долго, возможно час, из дома никто не показывался.

Второй раз Микита вышел из хаты уже в серой фуражечке с козырьком. В руках держал серп и топор. Прошагал мимо меня, и теперь я смог убедиться, что это скорее молодой парень, чем взрослый мужчина. Вероятно, сын, а то и внук этой бабушки. Вот только очень хлипкий, замученный, и не определишь сразу,

сколько же ему лет - двадцать или все тридцать? И с левым глазом у него что-то неладно...

Микита пошел куда-то вниз, а немного погодя вышла из хаты старуха. С плетеной корзинкой, с решетом и ножом. И, насколько я мог разглядеть, начала собирать на огороде помидоры, рвать фасоль. Подворье несколько часов оставалось пустым. В хате, кроме этих двух, словно бы никто больше не жил. Примерно в десятом часу они возвратились снизу, с огорода, вместе. Он нес снопок осоки и вязанку сушняка, она - полную корзину и решето. Потом она с ведрами на коромысле и узелком тряпья направилась вниз к речушке, а он пошел вверх, в село. Вели они себя так, будто и не лежал у них на подворье под полосатой дерюжкой мертвец. Так, словно все это было совсем будничным...

Старуха через какой-нибудь час возвратилась с полными ведрами воды и выстиранным тряпьем на коромысле. Сын - я почему-то уже думал о нем как о сыне - не показывался до самого вечера...

Боже мой, каким невыносимо тяжелым и длинным был для меня этот день! Более длинного я, кажется, не запомнил за всю свою жизнь! Чего только не пережил и не передумал, как только не перемучился я за тот летний день, неподвижно изнывая в конопле! И меньше всего думал я о собственной безопасности. А если иногда и появлялась назойливая мысль о том, чем все это для меня закончится, старался отгонять ее, потому что и в самом деле... ну, что может со мной случиться в конце концов на родной земле, среди своих людей? Да еще после всего, что я испытал во время двух первых вылетов во вражеский тыл и нескольких месяцев пребывания на оккупированной земле.

А вот что растерял позорно, по-глупому всю группу, что остался один-одинешенек, как пень... Ведь у меня опыт! А они попали в такую ситуацию впервые! Ни один из них о таких обстоятельствах до вчерашней ночи и представления не имел. Для них все это в самом деле - terra incognita. Да где там... просто геенна огненная, в которой, как кажется в первое время, всюду лишь и поджидают тебя одни гитлеровцы да полицаи. Невыносимая досада грызла меня.

И все же нужно было держаться, держаться до вечера, по возможности изучать обстановку, делать из этого выводы и потом действовать.

Обстановка, как говорится, в близком радиусе была несложной. Пустое подворье, мертвый ефрейтор и двое незнакомых, по всей вероятности, своих людей. И больше ничего живого. Не то что курицы там или собаки, даже кошки, кажется, у этих людей не водилось. За весь день во двор, кроме Оксанки, ни

один человек из сельских, из соседей, так и не зашел. Интересно только - вообще сюда люди не заходят или же их отталкивает сейчас этот мертвый ефрейтор?

Из села до меня не доносилось ничего определенного.

Правда, можно было составить хотя бы какое-нибудь представление о движении на дороге. Судя по всему, ее можно было бы считать магистральной в этих краях, но движение было довольно слабым. За все время протарахтели два мотоцикла, проехали поодиночке четыре военных грузовика да еще простучал кто-то на телеге. Одним словом, не густо...

А солнце поднималось все выше и выше. День разгорался над безбрежной степью знойный, августовский.

И ко всем моим мукам и страданиям начали присоединяться новые, досадные, нестерпимые и, казалось, непреодолимые. Прежде всего - это опасное соседство и постоянное, ежесекундное напряженное ожидание, что вот-вот кто-то появится. Потом неподвижность, от которой деревенеет тело. А шевелиться, двигаться, даже позу изменить опасно! Погода безветренная, а высокая конопля на открытом месте просматривается со всех сторон.

Стоит только шевельнуться, а она уже и задрожала вверх над тобой, заходила ходуном. И получается, ветра нет, а конопля мотается. А тут еще солнце так припекает, так парит, семь потов из тебя выжимает. А еще вонь разомлевшей на солнце конопли... Невыносимо хочется то покурить, то воды напиться. Со мной ведь было только немного еды... От всего этого так умопомрачительно разболелась голова, что казалось, не выдержу боли, волком взвою. А тут еще за мертвяком ефрейтором, как я и предполагал, в самом деле приехали.

Приехали в открытой запыленной легковушке. Примчались с дороги на открытое всем ветрам подворье и остановились у самой конопли. В машине, кроме водителя, пожилого усатого солдата, были еще двое молоденьких немцев и... (ну да, так и я знал, так и думал!)

огромная, с высунутым от зноя красным языком, клыкастая овчарка. Она сидела, тяжело дыша, рядом, всего в нескольких шагах от меня, но так и не учуяла ничего, не встревожилась. Один лишь раз передернула шкурой, словно бы воду с себя отряхивала, и чихнула. Видно, и в самом деле ей, как и мне, очень уж неприятен был густой, острый дух перезревшей и распаренной на солнце конопли.

Водитель так и не поднялся из-за руля.

Молодые немцы, ничем не интересуясь, никуда не заглядывая, не посмотрев даже на хату и хлевок, соскочили с

машины и сразу же к мертвецу. Стащили с него дерюжку и старательно расстелили на траве. Потом вдвоем - один за колени, другой за плечи - уложили на нее ефрейтора, втиснули в кузов. Сами вскочили следом, стали по бокам, держась руками за борта. Машина фыркнула, газанула, рывком взяла с места и мгновенно исчезла...

А мне нужно было все это перетерпеть, выдержать и пережить... Правда, фактор неожиданности был бы тут в мою пользу. Автомат наготове, гранаты под рукой. Живыми бы они не ушли, но... что бы из этого потом получилось?

Всему на свете, оказывается, бывает конец. Солнце, надолго задержавшись в зените, постепенно принялось сползать вниз, ближе к горизонту. Жара не спадала до самого вечера. А духота осталась невыносимой и с наступлением сумерек. Однако день - тот день! - все-таки закончился....

Под вечер старуха на летней плите, которую я только теперь заметил возле хлевушка со стороны улицы, сварила что-то похожее на кулеш. Перед заходом солнца возвратился домой Мнкнта с котомкой за плечами.

Зашло наконец солнце. Старуха залила водой огонь и понесла чугунок с пахучим варевом в хату. Микита пошел следом. Грохнула, наглухо закрывшись за ними, дверь, и все снова стихло, будто вымерло. И в селе, и в степи. Снова затанули свою древнюю, мертвенно-однообразную песню кузнечики.

Дождавшись, пока совсем стемнеет, я встал. Отсиживаться тут дольше я уже не имел права. Действовать! Во что бы то ни стало действовать! И чем скорее, тем лучше! Нужно уходить из этой опостылевшей конопли!

Двери в сени и в горницу открылись легко и почти беззвучно.

В горнице, оказывается, тускло мигает каганец. Справа большая печь, слева, напротив, старенький поставец да вдоль стены под окошками длинная скамья. За печью, вероятно, полати или кровать, в углу напротив двери голый стол.

Сын сидел на низеньком стульчике возле скамьи и крутил ручные жернова. Мать - на скамье, рядом. Брала из ведерка зерно и медленно сыпала из пригоршни в отверстие посредине верхнего подвижного камня. Оккупационная "мельница" скрежетала, шипела и слегка погромыхивала.

На скрип дверей мать и сын повернули головы.

Мать - неторопливо, сын - порывисто. Мать смотрела на меня со спокойным любопытством, казалось, совсем не удивляясь, как будто узнавала в сумерках кого-то из соседей. Сын вытянул тонкую жилистую шею, хмуря сухонькое, с острыми чертами личико. Лишь теперь я понял, что ему не больше двадцати. Он

был очень истощен и потому казался преждевременно состарившимся.

Левого глаза у него не было. На его месте темнела глубокая впадина, прикрытая синими, навеки сомкнутыми веками. Правый, здоровый глаз казался округленным, как у птицы, и очень напряженным.

Они смотрели на меня, не торопясь задавать вопросы.

Вместе с ними смотрела на меня изо всех углов единственной полупустой горницы откровенная, ничем не прикрытая бедность. От этого больно сжалось сердце.

Прикрыв за собой дверь, я шагнул от порога и, прислонившись спиной к стене, стал между дверью и поставцом. Автомат поперек груди, рука, стиснувшая рукоятку пистолета, в кармане, гранаты в открытом подсумке на поясе. Держа и обитателей комнаты и окна хаты под прицелом, приказал:

- Сидеть на месте. Не бойтесь. Молчите и слушайте внимательно. Я советский парашютист...

Парень еле заметно, но словно бы с привычной уже досадой пожал плечами. На темном, будто вырезанном из дуба, лице матери не дрогнула ни одна черточка.

- ...Я советский парашютист. Вчера ночью выбросился с самолета возле вашего села. Вы советские люди и должны мне помочь. Вы меня поняли?

Тонкая шея сына дернулась, а единственный глаз стал еще более напряженным.

- Я не понимаю, чего вы от нас хотите? - высоким, по-детски писклявым голосом, с досадой и раздражением сказал он. - Мы ничего не знаем, ничего не видели.

Оставьте нас в покое.

- Вы мне не верите?

- Мы ничего не знаем и знать не хотим, - уже со злостью бросил одноглазый. - Чего вы к нам пристали?

Уходите!

- Мне некуда идти. Я действительно советский парашютист, и вы обязаны мне помочь.

- Мы ничего не знаем и знать не хотим, - как-то глуповато тянул одноглазый. - Чего вы к нам пристааете?

Полиция и жандармерия запретили нам впускать в хагу незнакомых людей и выходить на улицу от заката и дэ восхода солнца. Они, когда ворвутся, будут стрелять без предупреждения. Мы ничего плохого не делаем. Нас не за что стрелять. Мы ничего не слышали, ничего не знаем и знать не хотим.

Мать все еще молчала, спокойно, без особого любопытства, но внимательно рассматривала меня. Одноглазый говорил

приглушенно, неторопливо, как-то заученно.

А единственный глаз его словно бы рос и наливался все большей тревогой.

Мне только теперь стало по-настоящему жутко. Охватили неуверенность, непонятное подозрение.

- Слушайте, - предупредил на всякий случай. - Я тут не один. Мои товарищи здесь... неподалеку. Они знают, что я зашел в вашу хату. И если вы меня... если со мной что-нибудь случится, они безжалостно покарают вас как предателей. Кроме того, уже скоро здесь и вообще будут наши. Они тоже будут знать, как вы принимали советских парашютистов. Мне крайне необходима ваша помощь. Слушайте...

- Чего вы от нас хотите! Мы боимся, - продолжал одноглазый, сердито сверля меня круглым глазом.

И тут вдруг порывисто, по-молодому поднялась со скамьи старуха.

- Подожди, Микита, помолчи, - властно приказала она.

Стояла против меня, высокая, стройная. Лицо ее вдруг удивительно изменилось. Исчезло, словно его и вовсе не было, выражение спокойно-равнодушного любопытства.

Вместо него сверкнуло во взгляде что-то сосредоточенное и решительное. Это грубоватое, обветренное крестьянское лицо показалось мне вдруг не только мужественным, но и красивым.

Перемена эта произошла так внезапно, что я и сам невольно умолк и даже смутился.

- Подожди, Микита, - повторила старуха ровно, однако безапелляционным тоном. - Помолчи. А ты, хлопче, - обратилась она ко мне, - нас не пугай. Пуганые...

Есть кому пугать, благодарение богу, и без тебя. Лучше послушай меня... Если ты и в самом деле наш человек, поверь нам и не бойся... А если ты... паскуда какая, все равно терять мне нечего. Нажилась, слава тебе господи!

Если же ты в самом деле, как говоришь, свой и оттуда, буду тогда, сколько жить придется, проклинать себя за то, что своего родного человека не поддержала, бросила на произвол судьбы. Мне тогда и жизнь такая не в жизнь!..

Говорила она отрывисто, но явно в глубине души волнуясь. А голос был ровным, звучал властно:

- Говори, чего тебе нужно. Поможем всем, что только будет в наших силах.

Смотрела, пронизывая меня острым, молодым взглядом, и я просто не узнавал в ней той забитой, измученной женщины, которую видел минутой раньше. Ни тени страха, ни следа забитости. И сын тоже... Сидел, так и не поднимаясь со стульчика,

переводил взгляд с меня на мать, с матери на меня и... смотрел ясно, умно, а лицо, сухощавое и болезненное, стало сосредоточенным и каким-то просветленным.

- Садись, рассказывай и не бойся, - властно, негромко приказала мне женщина и сама снова села на скамью.

А я... В груди у меня что-то вдруг задрожало и оборвалось. Видимо, сказалось вдруг все: и непреоборимая усталость, и голод, и стыд, и волнение... И мне, взрослому человеку, который вот уже третий год играет в жмурки со смертью, вдруг стало ясно, что если я не сделаю сейчас чего-то особенного, чего-то необычного, то обязательно...

разревуся. Разрыдаюсь здесь, на глазах у этих незнакомых, но уже родных мне людей.

- Мама, - сказал я, - спасибо вам, мама... Скажите, нет ли у вас случайно горячей воды?

Довольно живо для своего возраста она метнулась к печи, открыла заслонку и прямо руками, большими и узловатыми, вынула из печи и поставила на шесток большой кувшин.

- Вот... Приготовила Миките голову помыть. Такая горячая, пальца не удержишь...

И тогда я, теперь уже, наверное, по-настоящему удивляя их, по-настоящему рискуя показаться сумасшедшим, совершил недозволенное. Отвернувшись к шестку, высвободил из-под ремня подол сорочки, скомкал его и погрузил в горячую воду, прямо в кувшин... Подержав так, слегка отжал воду и, подойдя к каганцу, расправил мокрое полотно.

- Посмотрите и... верьте мне, мама...

На мокром желтоватом подоле теперь ясно, как на проявленном негативе, выступали слова моей секретной, сверхсекретной, предназначенной лишь для подпольного руководства справки. С фамилией, званием, полномочиями, печатью и подписью высшего начальника.

Единственный глаз Микиты так и прикипел к этому диву. А когда наконец он посмотрел на меня, его губы растянулись в широкой детской улыбке. И глаз, утратив недавнюю напряженность, сверкал откровенным и искренним восторгом...

Женщина, один лишь раз взглянув в мою сторону, тотчас же с как-им-то вежливым и сдержанным достоинством отвела глаза:

- Не нужно мне этого, сынок. Зачем оно!.. Да и читаю я еле-еле... При таком свете и разглядеть-то ничего не сумею.

Говорила она, как и раньше, ровным, спокойным голосом, хотя ощущались уже в нем и какие-то новые, более теплые нотки.

А я стоял перед нею с автоматом на шее и мокрым подолом рубашки в руках. Выглядел, вероятно, со стороны дурак дураком,

а чувствовал себя счастливым.

Зачем я совершил это безрассудство, поддавшись внезапному порыву? Сказалась нечеловеческая напряженность последних суток? Непредвиденные осложнения?

Сдали нервы? Не знаю, не могу сказать! Может быть, потому, а может, и нет. Не знаю... Знаю лишь одно. И уверен в этом твердо и непоколебимо и по сей день. Если бы тогда в той хате я поступил иначе, то всю жизнь чувствовал бы угрызения совести. Мне и сейчас кажется, что я должен был поступить именно так, и только так.

Это было какое-то необычное прозрение, что-то тогда еще не до конца осознанное. Прозрение и большое духовное потрясение. Как будто я по-настоящему, ощутимо прикоснулся к душе моего народа. Поэтому и должен был поступить так: на душевность ответить душевностью.

Тогда эта старая крестьянка из маленького, затерянного в степной безбрежности села Жабова стала для меня всем: высшим начальством, матерью, родиной! Она олицетворяла в себе все самое святое, чем я тогда жил, олицетворяла всех, кто боролся и страдал там, на фронте, и тут, в степи, на бесконечных просторах этого "Белого пятна". И я передал в ее руки свои главнейшие полномочия, будто в руки самого народа, ради которого и прибыл сюда...

Когда я невзначай обмолвился, что, сидя целый день в конопле, видно, пропитался ее запахом на всю жизнь, Микита признался:

- А мы догадывались... Еще утром, когда Оксанка забежала, я заметил, что в конопле кто-то есть. Думал только, из полиции, чтобы за нашей хатой следить.

- А почему должны были следить именно за вашей хатой?

- Да, верно, не только за нашей. Они тут за всеми следят. Как только тебя прозевали?

- Не иначе потому, что вышел я к вам засветло. Не ждали уже... А почему так зорко следят именно за вашим селом?

- Может, и не только за нашим... Но ведь случилось-то с этим Рихардом где-то здесь, совсем близко.

- А что же случилось?

- Так убили же его вчера вечером!

- Это тот, который со мной в конопле лежал? Кто он такой? Кто его убил?

- Рихард?.. Да сам-то он только шофер. А возил шефа новобайрацкой жандармерии Бухмана.

- Ну и чьих же это рук дело?

- Да кто его знает... Ловят... А убит совсем неподалеку

отсюда. Возвращались они из Солдатского по:елка вчера, когда уже совсем стемнело. Этот Бухман, сылочь, смелый, ничего не боится, даже по ночам рыщет.

Ну и... Видел я сегодня эту машину. Вот здесь, на дороге. Только промчались они, значит, через Жабово, выскочили туда, на ровное, слышим, взрыв какой-то. Даже стекла зазвенели. То ли гранатой, то ли чем-нибудь другим, этого я еще не знаю. Машина вверх тормашками и сразу же загорелась. Рихарда - насмерть, а Бухману хоть бы что. Постоял на дороге, дождался, пока какая-то немецкая гашина появилась, остановил, Рихарда подвез и уложил возле нашей конопки, а сам назад, в Солдатский поселок... Помчался туда с немцами, а вскоре и запылало там.

- И кто же это сделал?

- Кго его знает, - покосился куда-то в сторону Микита.

- Ну, кто не кто, а уж что "Молния", так наверняка! - вдруг спокойно сказала старуха.

- Много вы знаете! - недовольно буркнул Микита. - Лучше бы помолчали.

- А чего мне молчать? Кому же еще, как не "Молнии"?

- То есть, как - молния? - ничего не понял я.

- Да-а... - протянул неохотно Микита. - Есть тут якобы в наших краях такая "Молния". Партизаны или подпочыщики, кто его знает!.. Где бы что ни случилось, все сразу же: "Молния" да "Молния"! Вот как в сорок первом было: Калашник да Калашник, так теперь "Молния".

- Мне бы сейчас напасть хотя бы на какую-нибудь искорку от этой "Молнии"...

Микита промолчал, будто не расслышал. Потом пожал плечами и заговорил совершенно о другом:

- Про вас тоже уже знают... Оксанка слышала, как полицей Гришка Распутин хвастал, будто где-то утром нашли парашют. Только не здесь... Где-то дальше, аж возле Подлесного, туда, к Зеленой Бrame. Теперь, говорят, облава большая собирается.

- А людей? Не слыхал, никого не задержали?

- Нет, об этом не было слухов.

"Эге, вот оно, выходит, как, - думал я. - Пятно, пятно, да не такое уж и белое!.. Есть и тут к чему руки приложить. Вот только бы ниточку какую-нибудь..."

Достаю из планшета карту и, развернув ее на столе, ориентируюсь, время от времени обращаясь с вопросами.

- Выходит, сейчас я вот здесь... Ага!.. Совсем неподалеку Новые Байраки...

- Да до Новых Байраков рукой подать... Но только ты обходи их за версту! Жандарм там - что лютый тигр.

И староста Макогон - собака из собак! - добавляет старуха.

- Дальше, чуточку в сторону, и опять-таки недалеко, Терногородка, потом Скальное...

- Тоже местечко, прости господи! Есть, говорят, там такой Дуська! Начальник полиции. Детей им страшат.

Сотни людей собственной рукой перестрелял.

А Подлесное и Зеленая Брама, оказывается, аж вон где! Далеко же кого-то из моих занесло, если это и в самом деле наш парашют найден. Видать, безвыходное положение было, если даже и припрятать не успел...

Сразу же, как только будет возможно, разведать все в той местности. Быть может, и не один, быть может, и еще кто туда попал... Думаю я обо всем этом, но в то же время и бабусиных слов мимо ушей не пропускаю. Запоминаю на всякий случай и названия сел, и фамилии, и ее характеристики. И жандарма Бухмана, и того Дуську (какое-то странное для мужчины имя! Или, может, прозвище?), и того старосту, собаку из собак, Макогона. На веку, говорят, как на долгой ниве... гора с горой, говорят... Однако у меня уже голова, кажется, кругом пошла. Да и неудивительно. Вторые сутки не сплю, не ем, да и обстановка, сказал бы, не очень уютная... "Молния", значит. Неплохо сказано: "Молния"... Старуха о чем-то перешептывается с Микитой возле печки. О чем это они?... Заставляю себя сосредоточиться, но это не совсем мне удается... Так и клонит в сон...

- ...Послушай, сынок! - трясет меня за плечо женщина. - Малость передохнул, и хватит! Если уж просишь, чтобы помогли, то слушай нас. Уходить тебе пора. Потому как место у меня такое, сам видишь... Долго не насидишься... Собирайся, Микнта, и айда!.. Прямо через обрыв к Соленой балке, а там левадами вдоль посадки...

Возле "Незаможника" будьте внимательнее. Пройдете.

? там уже и до Панька рукой подать... Есть тут такой Панько, свой человек...

И вот я снова в степи, снова лунная ночь. Только путешествую уже не один, а с этим еще вчера совершенно неизвестным мне одноглазым парнем. Двигаюсь уже не наобум, а словно бы зная, куда и как. Идем большей частью молча, придерживаясь балок, левад и лесополос.

Только иногда переговариваемся шепотом.

- ...Это твоя мать? - спрашиваю парня.

- Нет! - сразу отвечает мне Микнта. - Бабушка...

Я сирота... Отца бандиты убили в двадцатом. Грызло тут такой был, атаман. А мать в тридцать третьем от голода...

Долго обдумываю, а потом все-таки решаюсь.

- Ас глазом у тебя что? - спрашиваю.

- С глазом? Да... ничего! Теперь без глаза еще лучше... В Германию не возьмут. - И, так и не ответив на мой вопрос, торопливо спрашивает сам: Скажи, а наши близко?

- На Донбассе, - отвечаю. - Миус, Кальмиус, слышал?

- Не приходилось... А как ты думаешь, наши тут скоро будут? Наши говорят, что осенью могут быть...

- А кто это "наши"?

- Ну, так... хлопцы, девчата. Есть такие, наше радио, Москву ловят.

- А из этой самой "Молнии" ты хоть кого-нибудь знаешь? Только говори правду.

Мы идем вдоль какой-то молодой посадки по заросшей пыреем меже. Под ногами шуршит трава, еле слышно потрескивает сухой бурьян. Микита долго-долго молчит, тянет почему-то с ответом, обдумывает. Потом бросает скупое:

- Да... так, разве догадываюсь малость. Расспрашивать же о таком не будешь. - И снова переходит в наступление: - Скажи, а это правда, что наши теперь все в погонах, как когда-то?.. А автомат у тебя тоже новый?

Да?.. Я такого еще и не видел... А "катыши"? Видел ты их хоть раз? Ох и боятся же их немцы! Только услышат- "катыша", так сразу и драпают... А там, справа, видишь, темнеет?.. Солонецкие хутора были. В мае немцы сожгли дотла. Бой был. Чуть ли не всю ночь стреляли.

Облава. Из наших так никого и не поймали и убитых не нашли. А немцев убитых аж четверо... "Молния" даже мотылька такого, листовку, значит, пустила...

- А та девушка, Оксанка, которая ефрейтора дрянью называла, чья она?

- Оксанка? Соседки нашей, бабушки Ганны, внучка.

Она не здешняя, из Киева. Ее отец майор. Может, теперь уже и генерал. Приехала в гости к бабусе, а тут война, немцы. Вот и застряла...

- Боевая, видать, девчонка. Сколько ей?

- Да, пожалуй, около пятнадцати будет. А так, чего же, боевая! Они с бабкой Ганной обе боевые. В сорок первом от немцев нашего раненого командира спасли и выходили. Да и так...

Что "так", Микита уже не закончил, умолк надолго.

Уже, вероятно, перевалило за полночь. Низом широкой балки мы вышли к старой разреженной лесополосе.

Взобрались на высокий бугор, и там Микита велел остановиться.

- Ты тут присядь, подожди, а я сейчас, - шепотом сказал он и сразу же легкой тенью перемахнул через межу, исчез бесшумно в темных кустах.

Садиться я побоялся. Земля под ногами была мягкая, будто нарочно распушенная цапкой, и теплая. Присяду - и сразу же засну... Встал за кустом бересклета, оперся плечом на ствол старого, скрученного степными ветрами абрикоса. Напротив, за межей, вниз по косогору сбегали, теряясь в серой мгле, какие-то кусты. В самом низу, в широкой балке, сверкал в лунном свете плес.

Еще дальше, за плотиной, виднелось высокое белое здание, вероятно, мельница. За ним вверх и направо четко распланированные ряды яблоневого сада и черными пиками на звездном фоне неба с десятков тополей. А тут, на этой стороне, куда сбегают темные кусты, в которых исчез, затерялся Микита, в сумерках деревьев - дом под железной крышей и силуэт высокого колодезного журавля.

Микита появился неожиданно, как и исчез, вынырнул передо мной, будто из-под земли.

- Пошли, - сказал шепотом.

Кусты за межей оказались крыжовником и смородиной, посаженными несколькими рядами вдоль огорода.

Между ними картофель. Ноги увязают в мягком черноземе, запутываются в картофельной ботве. Но через минуту шагаем уже по узенькой, хорошо утоптанной тропинке. Сад - яблони, груши, вишенник. Сколоченная из жердей ограда, невысокий перелаз, большое подворье.

Хата с крыльцом, на две половины, хлев, амбар, колодец с выдолбленным корытом возле.

Посредине двора бричка. Пара серых коней, головами к передку, жуют, аппетитно похрустывая. А возле калитки невысокая коренастая фигура в белой неподпоясанной рубашке, в темных штанах, заправленных в сапоги. На голове широкий брыль. Лицо затенено. Виднеется из-под брыля лишь клинышек короткой бородки.

Встретив нас, мужчина молча поворачивается и направляется через двор к крыльцу. Мы следуем за ним.

Две деревянные ступеньки, темные сени, дверь налево.

Освещенная лишь призрачным светом луны огромная комната. Шкаф, еще какая-то мебель, высокий, под самый потолок, с большими листьями фикус.

- Хотите перекусить? - приглушенно, будничным голосом спрашивает мужчина.

- Благодарю... сейчас не хочется, - отвечаю тоже

приглушенно.

Он не настаивает.

- Дядя Панько, - шепотом говорит Микита, - так я, пожалуй, побегу.

- Давай, - спокойно, даже равнодушно соглашается дядька Панько.

- Спокойной ночи, - шепчет Микита.

- Спокойной ночи, - говорю я, ловя в темноте его руку. Нашел, пожал. До свиданья. Спасибо, Микита.

Передай бабуся мое огромное спасибо.

Не ответив, Микита исчезает. Так тихо, что за ним даже и дверь не скрипнула.

Дядька Панько тянет меня куда-то направо.

- Прошу теперь сюда...

Отгороженный простыней темный закуток с однимединственным, прикрытым занавеской окошком.

В углу топчан, на нем постель.

- Можете раздеться и спокойно отдыхать, - гудит где-то за стеной дядька Панько. Через минуту, помолчав, добавляет: - Я буду спать здесь, рядом, за стеной на диване. Без меня ни ночью, ни утром на дворе не показывайтесь. На той половине ночуют новобайрацкий комендант и начальник полиции. Побоялись на ночь глядя домой возвращаться.

"Да, да, - с каким-то удивительным равнодушием, сквозь непреодолимую сонливость, ломоту во всем теле и шум в голове лениво думаю я. - Соседство снова - ничего не скажешь. Действительно, можно спать спокойно. Нащупываю узенький деревянный топчанчик, присаживаюсь на краешек, а потом, наткнувшись на высокую подушку, падаю навзничь. Складываю руки на автомате. - Нужно обдумать, сориентироваться, что к чему...

В это крохотное окошко не пролезешь никак. Не лучше ли присесть возле стенки у входа и подождать до утра?

Ну да, так и сделаю", - думаю и... сразу же проваливаюсь, будто под воду, в глубокий, неодолимо глубокий, без сновидений сон...

Дядька Панько, невысокий, приземистый, с рыжей бородкой и ясными синими глазами мужчина лет под пятьдесят, будит меня около девяти часов утра.

За окном весь мир залит ослепительными, сверкающими лучами солнца. За окошком в кустах бузины яростно спорят о чем-то воробьи. Комендант и полицейский уже давно уехали по своим делам. Дядька Панько побывал на мельнице, - он, оказывается, мельник, - извлек из вентеря на пруду большую щуку и ждет меня

к завтраку.

На столе шипит только что поджаренная яичница с салом, лежит непечатый душистый каравай и стоит кувшин с простоквашей.

О парашютистах дядька Панько еще ничего не слышал. Ни от своих людей, ни от кого-либо другого. О том парашюте в Подлесном, правда, между комендантом и полицаем шла речь за ужином. Но чего-то большего и они пока не знают. Если же что-нибудь будет, кто-нибудь объявится, его люди обязательно сюда сообщат. Ведь это же не иголка в сене. От немцев, возможно, и спрячешь, а от своих ни за что! Ему же покамест приказано укрыть меня здесь. Место, дескать, совершенно безопасное. Пересажу до вечера, а там уже кто-то, кому положено, явится за мной и поведет куда следует. В Новые Байраки или еще куда... Этого он уже не знает... Да и вообще больше ни о чем не спрашивает и не рассказывает... Будто и не догадывается... кто я... Станный человек. На самом деле не интересуется мною и тем, что в мире происходит, или же прикидывается?.. Или, быть может, знает больше меня?!

Так или иначе, в моей судьбе его роль ограничивается тем, что продержит день и передаст кому-то другому.

Очень, очень хорошо! Большущее спасибо ему и за это!

Но... впереди еще один трудный, невыносимо трудный день бездеятельности и неизвестности. И можно только представить себе, что думают сейчас о нас там, за линией фронта, как приникают к приемникам, напрасно вылавливая в эфире наш голос. А я, командир группы, даже и приблизительно не представляю, где теперь мои люди, что с ними происходит. Быть может, кого-нибудь уже и в живых нет!.. Невыносимая, усугубленная тоской и нетерпением неизвестность, от которой хоть головой о стену бейся...

Поскорее бы уж встретиться с кем-то таким, с кем можно было бы повести серьезный разговор о розысках десантников и о том, ради чего я сюда прибыл. А что такие люди тут есть, у меня уже не было никаких сомнений.

На всякий случай дядька Панько все-таки велел мне забраться в амбар и спрятаться ка чердаке. Там, под соломенной крышей, было довольно просторно. Света, пробивавшегося в небольшое отверстие между стропилами, тоже хватало, особенно когда глаза уже привыкли к сумраку. В углу, вероятно именно для такого случая, была постелена солома и брошены сверху рядом и подушка. Рядом корзинка с яблоками и грушами и кувшин с водой. Создавалось впечатление, что до меня здесь уже бывали и, вероятно, не раз.

Короче говоря, устроился я довольно комфортабельно. Не было, к тому же, ни малейших сомнений или предчувствий и в отношении дядьки Панька. Но день, который снова тянулся для меня на этом чердаке целую вечность, оказался еще более трудным, чем вчерашний. Вот только осточертевшего запаха конопли не было...

В отверстие, у которого я простаивал часами из осторожности, тоски и просто из любопытства до невыносимой ломоты в пояснице, открывались передо мной часть пруда, плотина, мельница, противоположный бугор и часть дороги, теряющейся где-то за редкой лесополосой, за подсушенными солнцем кленами, ясенями и вязами.

Хозяин меня не беспокоил, надолго исчезая со двора.

Казалось, жил он здесь одиноко. Потому-то лишь благодаря отверстию в крыше имел я в тот день возможность "развлекаться".

Примерно около двенадцати часов из-за пригорка на той стороне плотины слышались далекий топот и перестук колес. А через минуту на дороге показалась и подвода, спускавшаяся вниз к плотине. На подводе сидели, свесив ноги, несколько человек. Все с винтовками. Сердце мое, признаюсь, екнуло: конечно, полицаи, кто же еще! Невольно оглянулся в сумрак чердака. Что же делать? Остаться здесь или выйти во двор? Со стороны мельницы, вероятно, совершенно не видно того, что происходит во дворе. И, пока они пересекут плотину, можно еще успеть спуститься вниз, а потом через сад и кусты смородины перебраться в лесополосу. У меня оставалось еще несколько минут на размышления. Поэтому преждевременно решил не паниковать. А тем временем из-за лесополосы на дорогу выкатилась вторая подвода.

За нею третья. И когда первая была уже возле мельницы - четвертая. На двух средних, груженных большими рыжими мешками, полицаев не было. Только по одному ездовому. На задней, тоже груженной мешками, рядом с ездовым сидел еще и полицай с винтовкой. Мешки действовали успокаивающе, и с побегом я не торопился...

Вот если они проявят какие-нибудь подозрительные намерения, направятся на плотину...

Подводы остановились на утоптанной площадке возле мельницы. Полицаи соскочили с телег и сразу же разлеглись под стеной в холодке на травке. Один подошел к пруду, оперся на заставку и начал энергично бомбардировать воду камешками. Ездовые, ослабив на конях сбрую и привязав к оглоблям торбы с овсом, начали вносить мешки на мельницу. Работали неторопливо, отдыхая и перекуривая. А закончив дело, тоже

прилегли в холодке под каменной стеной. Потом напоили коней, сами перекусили, развязав узелки, и, наконец оставив в карауле одного из полицаев, отправились в обратном направлении. Тянулось все это примерно часа два. И все это время я неотрывно следил за ними из своего укрытия, Но вот наконец подводы скрылись за лесополосой и я, несмотря на одного оставленного полицая, который, кстати, вошел в мельницу, решил немного отдохнуть, прилег на солому, закрыл глаза. Лежал, размышляя, стараясь осмыслить свою странно-неожиданную тревогу и...

не заметил, как задремал...

Разбудил меня какой-то внезапный грохот. Я вскочил на ноги и бросился к стрехе. Со сна и от неожиданности сердце у меня неистово стучало, глаза слепило солнце.

Лишь через какой-то миг, освоившись, увидел: в широко открытые ворота, у которых стоял в своем брыле дядька Панько, въезжала во двор, приглушенно шумя мотором, легковая немецкая машина. Проснулся я, вероятно, тогда, когда она газанула, взбираясь с плотины на каменистый косогор, уже возле самого дома.

Остановилась машина посреди двора, на том самом месте, где вчера ночью стояла бричка. Из нее вышло двое немцев. Один - толстый, с большим животом. Таким, что полы коричневого широкого френча не сходились. Другой - худощавый, длинношей, в обычной немецкой форме пехотинца У обоих на поясах большие черные кобуры. У толстого на голове пилотка, у армейца большая, с высокой тульей фуражка. Толстый потянул за собой с сиденья автомат. А с переднего места, из-за руля, тем временем выпрыгнул еще и третий - БОдитель. Хотя, наверное, по профессии и не шофер, потому что одет был слишком уж нарядно: хорошо подогнанный серо-голубой мундир, новенькая фуражка и на плечах новенькие небольшие серебристые погоны.

Немцы разгуливали по двору, разминая ноги. Толстый что-то кричал дядьке Паньку, который закрывал ворота, или же полицая, который торопился к воротам снизу, со стороны плотины. Я невольно подумал: "Теперь бежать уже некуда... Теперь придется повоевать". В том, что уложу всех троих при первом же их подозрительном действии, я был абсолютно уверен. Вот только что будет потом... это уж другое дело...

Однако гитлеровцы (какие-то, вероятно, чины из района или области) вели себя мирно. Размявшись, все, кроме полицая, вошли в дом. В комнате они долго, очень долго, если учесть мое положение, обедали. Полицай все это время торчал с винтовкой у ворот.

Снова на подворье немцы вышли с шумом, возбужденные, с

растегнутыми френчами, из-под которых белели нижние рубашки, с покрасневшими (даже издали видно), лоснящимися мордами. Весело перекликаясь, они некоторое время расхаживали по подворью и саду.

Рвали с деревьев сливы, груши, трясли яблони. Лениво лакомились созревшими плодами, иной раз лишь надкусив яблоко или грушу, с хохотом швыряли ими друг в друга.

Чуточку позже они вышли на берег пруда, принялись раздеваться. Толстый, в коричневом мундире, разоблачился совсем, догола, шагнул в воду, блаженно, по-женски писклявым голосом заохал и захлопал себя широкими ладонями по отвисшему тяжелому животу. Двое других остались в трусах. Подкравшись, они внезапно обрызгали толстяка водой. Тот взвизгнул, подпрыгнул и с хохотом и криками помчался вдоль берега. Опьяневшие, они долго и весело гонялись друг за другом, хохотали так, что зхо звонко раскатывалось над прудом. Полицей, все стоявший с винтовкой у ворот, хохотал угодливо, похолуйски, хотя они его и не видели.

А у меня чесались руки. Меня оскорбляла вся эта суета, то, как они весело развлекались и безнаказанно резвились на нашей земле, возле нашего пруда. Особенно возмущал толстяк. И я еле сдерживал острое, почти непреоборимое желание полоснуть по ним очередью из автомата.

Набегавшись и накричавшись, они искупались и, наконец, утихомирились. А через час, приказав бросить в машину два мешка муки, уехали.

Уже совсем под вечер из мельницы во двор вышли полицей (их там оказалось трое), поужинали, покурили и, как только зашло солнце, возвратились на мельницу, вероятно, на свои посты.

Наконец все вокруг - пруд, голые бугры, сад и дорога на той стороне-окуталось синими, густыми вечерними сумерками. И дядька Панько разрешил мне выйти из моего укрытия.

Затемно, перед самым восходом луны, дядька Панько молча повел меня по тропинке мимо хаты вниз, к плотине. Тихо было вокруг. Мельница над нами, вверху, призрачно белела, словно бы совершенно безлюдная. Лишь в лотках пенилась, клокотала вода, срываясь с колес, несколькими упругими струями падала на огромные плоские камни, разбросанные вдоль речушки.

Речушка эта бурно вытекала прямо из-под мельницы и затихала, входя в низкие ровные берега в двадцати - тридцати шагах от плотины. Пробираясь в густых зарослях аира и чернотала, прикрытая сверху высокими вербами, текла дальше, в темноте неслышимая и невидимая, давая знать о себе лишь

влажностью и прохладой ночного прибрежного воздуха.

Мы шли по узенькой, хорошо утоптанной тропинке.

Через некоторое время остановились под раскидистой, с молодыми ветвями и старым стволом вербой.

- Теперь идите прямо за этим вот парнем и не суyleвайтесь, - сказал дядька Панько.

Я присмотрелся внимательнее. Парень в чем-то темном, из-под чего светилась бе тая рубашка с расстегнутым воротником, без головного убора, коротко стриженный, стоял, прислонившись спиной к вербе. Оказался он мальчишкой лет четырнадцати. Услышав слова дядьки Панька, он сразу молча повернулся ко мне спиной и направился в сумрак скрытой кустами тропинки.

Я не удержался, спросил:

- А куда идти?

- Не сумлевайтесь, - ответил мне уже где-то за спиной дядька Панько. Придете куда следует...

И исчез, неслышно растворился в ночи.

Шли мы, наверное, около трех часов, а то и больше, все время молча. Чем дальше, тем светлее и светлее становилось вокруг. Где-то у нас за спиной взошла и неторопливо поднималась вверх по крутому кособору звездного неба огромная, преступно беспечная и ясная луна.

Мальчишка шагал по-взрослому широко, не оглядываясь. Коротко предупреждал: "Ров. Камень. Пенек..." Лишь в одном месте произнес несколько слов:

- Здесь у нас родник. Вода очень вкусная. Напейтесь, если хотите.

Воспользовавшись этим приглашением, я растянулся, на холодной траве и приник губами к источнику. Вода и в самом деле была удивительно вкусной, словно бы сладкой, и такой холодной, что зубы заломило.

После меня напился и мой провожатый. Тронулись дальше. Из балки в балку, с пригорка в ложбину. Берега пошли преимущественно голые. Лишь кое-где темнели лоскуты притоптанной скотиной осоки и торчали низкие ободранные кустики. Под ногами сухой бурьян, стернище. Порой на тропинку склоняло тяжелые метелки просо.

Повстречались две скалы. Выступали, выразительно темнея, еще издали видные, выпирали над самой речкой округлыми крутыми гранитными лбами. Перед тем как обойти такую скалу, мальчик останавливался, выжидал и прислушивался.

Пересекли небольшой луг с несколькими копнами сена. За ним тропинка снова нырнула в левады, в заросли верб, лозы,

лопухов, чернобыла и конского щавеля.

Острознакомо, тревожно ударило в ноздри запахом конопли.

Мальчик остановился. Оглянулся.

- Тут будем переходить улицу. Присядьте, а потом поодиночке.

- А где мы? -спросил я, приседая.

- В Новых Байраках.

Он пригнулся, сделал шаг, шмыгнул куда-то за кусты и исчез.

Через минуту после этого издалека донесся тихий свист. Приняв его как сигнал, тронулся и я. Перешагнул через неглубокий ров и вышел на дорогу. Справа, на открытом месте, речушка разлилась широким плесом. Над этим плесом деревянный мосток, далее колодец с высоким журавлем, вербы. Из-за старой вербы подошла к нам высокая женщина.

- Ты? - спрашивает мальчика, не называя имени.

- Я, - тихо отвечает мальчик.

- Все в порядке?

- Ага.

- Хорошо. Возвращайся домой. А вас прошу за мной.

Идем теперь куда-то вверх. Кусты остались позади, начался огород. Картофельная грядка, по ней то тут, то там высокие подсолнухи, несколько старых деревьев, вероятно груш. Впереди в лунном свете выступает какое-то огромное приземистое здание... Рига? Да, рига. С низенькими, утопающими в лопухах стенками и высоченной, но провалившейся крышей. Навстречу нам выходит мужчина. Рослый, плотный.

- Иди, Парася, поспи, - слышу шепот. - Ничего уже больше не нужно.

Женщина, не задерживаясь, идет дальше. Мужчина молча и сильно стискивает мой локоть... И ведет. Мимо риги, по картофельным грядкам, по густой высокой ботве кабачков. Переступаем через белую жердь и входим на подворье. Большая, с крытым крыльцом хата. Темные сени. Узенькая дверца в кухню завешена еще и плотным одеялом. Она закрывается за нами, и я оказываюсь в сплошной, непроглядной темноте.

- Одну минутку, - доносится откуда-то сбоку густой спокойный бас. Сейчас я ее, проклятую, разыщу...

Легкий шорох. Стук. Потом вспыхивает зажигалка.

Мужчина засвечивает керосиновую лампу и пристраивает ее в закутке. Из темноты выступают просторная кухня, печь, стол. На столе что-то горбится, прикрытое полотняным рушником. Окно наглухо закрыто чем-то темным.

Возле печи, повернувшись ко мне лицом, мужчина.

Ему лет под сорок. Высокий, статный, хотя уже и чуточку

грузноватый. Бритое, полное, спокойное лицо с крупными четкими чертами, негустые, опущенные усы, умные, внимательно-спокойные глаза. Хотя взгляд их тоже какой-то тяжеловатый, твердый. На голове темная суконная фуражка военного образца; темный, с накладными карманами китель, синие широкие галифе и хорошо начищенные новые сапоги.

Стоит, рассматривает меня и, наконец, произносит низким, густым басом:

- Ну, а теперь... здоровья желаю, капитан... капитан Сапожников, если не ошибаюсь? - Он широко улыбается и, не дожидаясь ответа, продолжает: Чудесная, скажу я вам, фамилия для конспирации. При случае и необходимости можно назвать, например, и по-нашему - Чеботаренко. Все остается так, как и было. А вместе с тем звучит как совершенно новая фамилия... - Не переставая улыбаться, подходит ближе ко мне. - Но прежде всего познакомимся... Я староста села Новые Байраки Макогон...

Последнее слово для меня как неожиданный удар.

Око внезапной и неудержимой дрожью пронизывает все мое существо. Вероятно, и на лице что-то такое отражается - улыбка на его губах гаснет...

Он неторопливо протягивает мне руку, а я подсознательно тянусь к своему карману. "Неужто совпадение?

Неужели тот самый?... Тот самый, "собака из собак"?

Макогон?..." Фамилия такая нечастая, что сразу, как только произнесла ее Микитина бабушка, засела в моей памяти...

- О-о-о! Да вы уже, вижу, успели кое-что прослышать, - сразу же меняет тон мужчина, и лицо его становится замкнутым. - Только прошу вас, не нужно... - добавляет он поспешно и не без иронии. - Я говорю, не нужно выстрелов. В конце концов черт не так уж страшен, как его малюют.

Макогон грузно опускается на стул, так и не дождавшись моего рукопожатия.

- Хорошо... Садитесь вот сюда, - указывает рукой на топчанчик. - Нам, вероятно, и в самом деле следует сначала объясниться.

Он хмурит густые брови, морщит высокий лоб, собираясь с мыслями. А я так и стою на месте, не зная, как себя вести дальше. Не понимая, как же это так случилось, что привели меня прямо в руки тому самому "собаке из собак", от которого предостерегали.

- Дело такое... - наконец неторопливо, тяжело начинает он. - О себе ничего не буду говорить. Не уполномочен, понимаешь, - переходит он на "ты". - А вот о тебе... Дело в том, что там очень обеспокоены вашим молчанием. Не знают, где вы и что с вами. Прошлой ночью снова сбросили человека на Каменский лес к

пархоменковцам... К розыскам подключили и меня. Имею приказ разыскивать и, если что, связать с"обкомом или хотя бы известить его. Обо мне же отныне и в дальнейшем будешь знать только ты. Раскрываюсь, понимаешь, лишь перед тобой в связи с вашими непредвиденными обстоятельствами. Ни один человек из твоих ничего обо мне не должен знать.

- Т-так, - крайне обескураженный, бормочу я, неуклюже усаживаясь на топчан. С острой тревогой, страстной надеждой и страхом оттого, что сразу же могу утратить эту надежду, спрашиваю: -А вы?.. Есть у вас какие-либо сведения?.. Хотя бы о ком-нибудь из моих людей...

Спрашиваю, а у самого все еще не выходит из головы Микнта, бабуся, ее слова о "собаке из собак"...

- Нет... покамест... Да и вообще, вероятно, этим будете заниматься, по крайней мере в ближайшее время, без меня. Но... сначала я все-таки должен удостовериться... Ты же, наверное, сможешь дать мне какие-то доказательства того, что ты настоящий капитан Сапожников? А чтобы поверил мне, скажу, что родился ты на Курщине, посылал вас сюда триста двадцать шестой, в твоей группе, кроме тебя, шестеро.

И он одну за другой называет фамилии моих товарищей, а я...

- Собственно... - медленно тяну я, учитывая все, что произошло со мной за эти двое суток.

Твердо взвесив все "за" и все "против", прихожу к выводу, что не поверить этому так обстоятельно информированному человеку все равно что не поверить уже теперь, задним числом, Мпкитиной бабушке... И вот староста села Новые Байракн внимательно рассматривает подол моей солдатской рубашки.

Осмотрев мою "справку", Макогон помолчал, потом сказал:

- Ну что ж, капитан Чеботаренко, думаю, что этот документ тебе тут больше не понадобится. Снимай во избежание лишних хлопот рубашку, а я найду тебе какую-нибудь другую... А эту, думаю, лучше всего просто уничтожить. Хотя... можно, конечно, и припрятать гденибудь в надежном месте, чтобы потом внукам показывать. Лучше всего - вырезать этот лоскут, в бутылку да в землю. Хороший, проверенный способ. Сто лет будет храниться... Великий будет подарок внукам, если... конечно... доживем. Макогон теперь улыбнулся скупо и как-то грустновато. И, немного помолчав, начал уже о другом. - О твоих покамест нигде никаких слухов. Кроме того, подлссненского, парашютиста. Однако где-то они есть. Живые или мертвые, но на свободе. В руки гитлеровцам, по крайней мере в ближайших районах, не попал ни один. Гитлеровцы, найдя парашют, организовали облаву чуть ли не по всей области. Несколько дней каждый уголок будут

прочесывать. Ну а мы свое: всем группам и организациям "Молнии" велено быть на страже днем и ночью, разыскивать, укрывать, спасать. Особенно в направлении Каменского леса. Не исключено, что твои, сориентировавшись, будут пробираться все же к месту сбора...

Макогон закурил, расстегнул ворот кителя и, сдерживаясь, чтобы не зевнуть, закончил:

- Ну что ж... утро вечера мудренее, как говорят умные люди. Давай поужинаем чем бог и моя Парасочка послали - и на боковую. Живому человеку положено хоть малость поспать не только в мирное время.

Ночевал я в той самой риге, мимо которой недавно проходил. В уголке, на свежей соломе, настеленной за ворохом ржаных снопов. Спалось мне, откровенно говоря, плохо. Не выходили из головы товарищи: где они сейчас, что с ними? Не совсем к тому же укладывалось в голове и все то, что творилось сейчас со мною. Как же это так?.. Неужели же эта старушка или, по крайней мере, внук ее Микита так и не знают, к кому меня спровадили?.. Ибо, если бы знали... Тогда к чему бы было говорить о "собаке из собак"? Одним словом, было о чем подумать в этой риге. Да и времени хватало. Вся ночь, да еще и предстоящий день!..

Только уже под вечер, возвратившись со службы домой, Макогон, отпустив ездового, поставил коней головами к бричке, прямо посередине двора, подбросил им в передок свежей викосмеси и тогда уже позвал меня в дом, чтобы вместе пообедать.

Детей у моего случайного хозяина не было. Жили они вдвоем с женой, и чувствовали мы себя в доме почти в полной безопасности. Хотя, на всякий случай, дверь в сенях закрыли на задвижку и автомат я, как всегда, держал под рукой.

Обедали мы вдвоем, в большой комнате; два закрытых кружевными занавесками окна во двор, одно - на широкую, центральную в селе, улицу.

За обедом, хорошо понимая, что действую не конспиративно, а то и просто по-глупому, я все лее не удержался:

- А знаете ли вы, товарищ Макогон, какого мнения о вас все те, кто направил меня сюда?

- Могу лишь догадываться, - насторожился Макогон. - А разве что?..

Однако потом, выслушав мой рассказ про "собаку из собак", не удивился. Лишь улыбнулся сдержанно и грустно.

- Ни я их, ни они меня, эти люди, вовсе не знают...

Возможно лишь, как старосту. Да и то издали, понаслышке... А если уж ты крайне хочешь знать правду,

капитан...

- Ну, чтоб так уж непременно... - пошутил я, - то не скажу. Так, какой-нибудь обрывок...

- Вся правда заключается в том, - продолжал совершенно серьезно Макогон, - что правду обо мне, да и то не всю, знают тут лишь трое: моя Парасочка, тот мельник да еще один добрый человек, к которому я вас через некоторое время и отправлю... Ты ведь случайно натолкнулся на одно из звеньев подпольной цепочки "Молнии" в том, наверное, месте, где она, эта цепочка, в какой-то мере переплетается с моей... Конечно же, если бы этот одноглазый мальчик знал, к кому направил тебя мельник, - не сносить бы Паньку головы... Да ты уж его на этот раз не выдавай!.. Потому что, если бы у тебя все шло так, как было задумано с самого начала, мы могли бы и не встретиться. А если бы и встретились где-нибудь значительно позднее, то только по однойединственной линии - линии разведки, капитан... И говорю я тебе об этом совершенно сознательно, на всякий случай... Ну, а тут, когда вдруг исчез целый десант во главе с капитаном госбезопасности неизвестно где и как, кто-то там сверху решил побеспокоить и меня, но не успел еще я и подумать, а мельник уже обратился к моей жене: так и так, мол, настоящий советский парашютист объявился! Куда его?.. Так что, несмотря на то что и подполье и партизаны интересуют меня прежде всего и только именно по линии разведки... то что ни говори, а тебе, капитан, со мной все-таки повезло. Магарыч с тебя причитается!

Когда обед близился к концу, я уловил какой-то неопределенный однообразный, все нарастающий гул или, вернее, топот. А когда понял, что это такое, на улице вдруг раздалась песня. Не очень громкая, не очень бодрая и слаженная. Но пело, несомненно, много людей.

Первым бросился к окну Макогон. Отвернул уголок занавески, взглянул на улицу и, повернувшись ко мне, непонятно улыбаясь, сказал:

- Не хочешь ли, капитан, полюбоваться, кто за тобой охотится? Посмотри!..

Вдоль улицы, громко стуча сапогами, поднимая розовую в лучах низкого уже солнца пыль, двигался строй не строй, но изрядная, на сотню, а то и больше людей, колонна. Одеты кое-как: в немецкое, полунемецкое, военное и полувоенное, гражданское, с белыми повязками на рукавах, но все до единого вооружены винтовками, карабинами, автоматами. Было у них даже два или три ручных пулемета.

- И все это, брат, на тебя одного, - улыбнулся Макогон. - Охотились целый день, да так ничего и не обнаружили.

Я не без любопытства и, откровенно говоря, не без жути проводил глазами эту собранную ради облавы на меня и моих товарищей колонну полицаев, ведомую толстым, с большим животом немцем в коричневом мундире, удивительно похожим на того, который вчера носился по берегу пруда нагишом.

Полицаи были, видать, до крайности утомлены, вымотаны, однако еще бодрились. Тяжело шагая по мостовой, они широко раскрывали рты и истошными хриплыми голосами выводили:

Соловей, соловей, пташечка,

Канареечка жалобно поет!..

В самом конце колонны четко, даже лихо выступали двое - в зеленых коротеньких стеганках, пилотках, новых кирзовых сапогах. Вооружены они были тоже новыми автоматами, правда, образца сорок первого года, с круглыми дисками. Лихо стуча каблуками, они, казалось, громче всех выкрикивали:

Ать, два, горе не беда!

Канареечка жалобно поет!..

А я с немым изумлением, будто замороженный, смотрел им вслед расширенными от удивления и недоумения глазами. И только после долгого молчания, наконец опомнившись, прошептал одеревеневшими, непослушными губами:

- Т-т-товарищ Макогон, честное слово, те двое в хвосте мои... мои "святые"... то есть... я хочу сказать, мои хлопцы!

СТАРШИНА ЛЕВКО НЕВКЫПИЛЫЙ

Случилось это, вероятно, потому, что людям в тот момент было не до неба. Хлопот хватало и на земле.

В центре села жадно и беспрепятственно хозяйничал пожар. Пламя охватило добрый десяток дворов. Время было сухое, самый разгар жатвы. И все, к чему прикасался огонь, сразу же вспыхивало и горело с какой-то особой яростью, потрескивая и постреливая: хаты, амбары, стога, пристройки над погребями, заборы, кучи сушняка и хвороста. Недолго сопротивлялись огненной стихии даже зеленые вишни, яблони и груши-дички вокруг хат. Листья на них сначала лоснились, потом сразу же начинали увядать, сворачиваться в трубочки и мгновенно дружно вспыхивали.

Перекрывая клочкотанье огня, пронзительно визжала в хлеву свинья, тревожно мычала корова, испуганно кудахтала где-то одинокая, случайно уцелевшая курица.

Время от времени над всем этим прорывались короткие автоматные очереди, грубые выкрики немцев.

И только люди, согнанные к колодцу, молча стояли тесной толпой. Окруженные десятком полицаев с автоматами и винтовками, взрослые и дети, женщины и мужчины, старые и

помоложе, стояли, прижимаясь друг к другу, скорее настороженно, чем испуганно наблюдая за тем, что происходит вокруг. Молчание было жутким, потому что не плакали, потрясенные несчастьем, даже дети.

В зареве пожара выступали словно бы отлитые из меди застывшие лица да иногда короткой красноватой вспышкой сверкали широко открытые глаза...

А с чистого, звездного, лунного неба прямо на головы людей, прямо в огонь стремительно опускался пышный белый парашют...

Начальник разведки партизанского десанта старшина Левко Невкыпиль падает прямо в огонь и уже ничего не мог изменить.

Огни он заметил сразу, как только раскрылся парашют. В первую минуту они показались обыкновенными кострами. Поэтому Левко верилось, что самолет шел не очень высоко, а костры эти, по счастливому стечению обстоятельств, являются партизанскими сигнальными знаками.

Но он почему-то все летел и летел. А огни, быстро вздымаясь ему навстречу, занимали все большее и большее пространство, разливались во все стороны и превращались в настоящий пожар. Можно уже было различить, что внизу горят дома, пылает чуть ли не все село, а он, Левко, летит с очень большой, оказывается, высоты...

Все, что происходило с ним, укладывалось в быстротечные минуты. И сама жизнь решалась теперь одним мгновением. Но мысль работала точно так же молниеносно, фиксируя тончайшие ощущения и малейшие перемены.

Он опускался, видимо, в самый центр действий карательного отряда. Значит, прежде всего оружие! Самое главное - не дать в руки живым, уничтожить как можно больше врагов, если уж так сложились обстоятельства. Если уж погибать, так погибать, как говорится, с музыкой. Левко так и подумал: "С музыкой", всем существом, всем телом ощущая только свое оружие: автомат, гранаты, пистолет... Стрелять нужно сразу, еще даже не приземлившись как следует, не обращая внимания на парашют, не освобождаясь от него...

Огонь стелется по земле. Густыми космами клубится дым. И все это летит прямо на Левка. Только бы не попасть в огонь,, не утонуть в нем... Но кажется, он летит прямо в пламя, прямо в центр огромного пожара.

И теперь уже ничто его не спасет! Вспышка отчаяния!

Боль бессильного бешенства, от которой темнеет в глазах... Всего на какую-то долю секунды... долю секунды, которая, собственно, решает все... Земля сильно толкает его в кончики пальцев. Колени привычно, автоматически пружинят. Его обдаёт

жаром. Парашют валится и тянет куда-то в сторону. Левко механически срывает стропы, и они летят вслед за парашютом. Сам он падает на спину и сразу же вскакивает на ноги, будто ванькавстанька. И бросается в сторону от невыносимой жары, пышущей ему в лицо...

Лишь потом уже, значительно позже, он восстановил в памяти все, что с ним случилось...

Летел он, оказывается, на охваченную пламенем огромную ригу. Высокая, крутая, покрытая снопами пересушенной соломы, крыша ее уже прогорела и провалилась внутрь. Однако огонь еще не утихал. Имея, вероятно, какую-то пищу (снопы, дрова или сено) в самой риге, пламя, ослепительными языками пробивая шлейфы дыма, взвивалось высоко в небо.

Левко приземлился всего лишь в нескольких метрах от глиняной стены. Парашют воздушной струей потянуло в огонь. Какой-то миг он, еще сопротивляясь этому сквозняку, развернутым зонтом висел над стеной. Но потом качнулся в сторону и мгновенно вспыхнул. Левко успел лишь оторваться от строп и пустить их вслед за парашютом.

Был он в каком-то странном состоянии. В каком-то предельном напряжении всех физических и душевных сил. Будто при вспышке молнии, которая каким-то чудом не погасла, а так и осталась гореть... Все казалось совершенно нереальным. Как в тяжелом, но очень ярком сне...

Вокруг было на удивление пусто и тихо. Никто не нападал, вообще никого и не было. Трещало, гудело и постреливало лишь пламя. В обе стороны тянулась длинная низенькая и глухая рыжая стена. Внизу вдоль стены заросли лопухов, крапивы, лебеды. Бессознательно Левко попятился подальше от огня. Нога провалилась в какой-то неглубокий окоп. Чуть не упал. Покачулся, задержался и осмотрелся вокруг... Терновые кусты, негустой, с обгоревшими и пожухлыми уже листьями вишенник. Светло как днем. А позади, за спиной, темнота.

И из этой темноты он, конечно, виден как на ладони.

Оттуда, из темноты, из вишенника, что-то сверкнуло.

Где-то близко, совсем рядом. Сверкнуло и погасло. Левко сделал еще два шага назад. То, что было невидимым, ясно выступило из темноты.

Под кустом неподвижная, застывшая, съежившаяся в клубочек человеческая фигура. Девчонка лет двенадцати или пятнадцати... Сидела, простоволосая, охватив руками колени и положив на них подбородок. И в этой позе было что-то обреченное, что-то от загнанного звереныша, которому уже некуда бежать... Хотя, возможно, не только это. Возможно, еще и

напряженность и упорство... Когда старшина остановился рядом, девочка даже не пошевелинулась. От этого ему стало вдруг жутко.

- Ты почему здесь? - спросил машинально, бессмысленно.

В ответ холодное и, показалось, презрительное молчание. Лишь глаза сверкнули живыми огоньками и снова погасли.

- Ты... видела? - спросил уже определенно, имея в виду себя, свое появление, парашют.

- Ничего я не видела, - невозмутимым, глуховатым, даже сердитым голосом ответила девочка.

И в ее ответе сквозило то, что она уже ничего не боится и даже его появление ее уже не удивляет.

- Что здесь происходит?

- Угоняли в неметчину... Кто-то немца убил... Теперь жгут село...

- А люди где?

- На улице. Возле колодца.

- А немцы? Много их?..

- Наверное, много... Тоже на улице. Сюда, в -сады да в огороды, боятся...

- А ты?

- Что я?

- Почему здесь, одна?

- Вы что, не знаете, почему сейчас люди прячутся?..

Он промолчал. А она добавила, уже не ожидая вопроса:

- Хлопцы в степь да на посадку подались, а у меня мама с Мишкой возле колодца... Мишка больной...

- Что за село?

- Солдатское.

- А там, дальше, что? - кивнул он головой куда-то в глубину сада.

- Ковтюхов огород, а за ним поле...

- Так ты что же, так и будешь сидеть здесь?

Девочка промолчала.

- Тебя тоже ловят? В неметчину?

- Да, будь они прокляты.

- Ну, что же... На всякий случай, ты йичего не слышала и не видела.

- Не беспокойтесь...

- А может, пойдем вместе? - он снова кивнул кудато на север, почувствовав вдруг, что не может оставить эту незнакомую девочку.

- Нет! - энергично повела она плечом. Потом, помолчав немного, посоветовала: - А вам лучше бы не задерживаться

здесь... Шли бы, пока темно...

Он постоял еще минуту и потом, понимая, что любое его вмешательство сейчас не поможет, ничего, кроме новых осложнений, не даст, тихо шагнул в заросли сада.

Встретились двое. Незнакомые, неизвестные друг другу, встретились на миг, как родные, и разошлись, возможно, навсегда, навеки... Но остался в сердцах след на всю жизнь - память об этой ночи и об этой встрече...

"А все же, дружище, судьба к тебе покамест милостива!" - подумал Левко, остановившись уже за селом в кукурузе и только теперь придя в себя. Он сориентировался по компасу, нашел в небе ярко мерцающий огонек Полярной звезды, передохнул и попытался осмыслить, что же случилось.

Солдатское... Солдатское... Неужели так далеко?

И так неточно?.. Почему? По карте выходит, до Каменского леса около тридцати километров. Далековато, что ни говори! Солдатское... Солдатское... Вот поди предугадай, что с бухты-барахты попадешь в какое-то там Солдатское!

В штабе на большой карте, которую он старательно изучал несколько дней, Левко запомнил десятки населенных пунктов севернее города К. вдоль южной границы Каменского леса. Среди них было и небольшое селцо Солдатское... Где-то приблизительно в районе предстоящих действий. Левко и сейчас, закрыв глаза, четко видит эту картину. Отметки, кружочки, надписи большими, маленькими и мельчайшими буквами. Среди них Солдатское. Среди самых мельчайших... И все же Левко запомнил и его. Поэтому сейчас вспоминает: до леса отсюда около тридцати километров. И прямо на север, в район Сорочьего озера, к месту их сбора. Далековато, ничего не скажешь! Но решение может быть только одно:

к месту сбора! Топтаться до утра, разыскивая своих здесь, и неразумно и крайне рискованно... А кроме того, встречи с товарищами могут произойти и по дороге.

Ведь, если уж случилась такая неточность, все равно место сбора остается неизменным. Следовательно, вперед на север! И чем скорее, тем лучше. Больше успеешь пройти до утра.

Он шел напрямик в стороне от дорог, по стерне через кукурузные плантации, свеклу, просо или подсолнухи.

Порой по несколько километров тянулись затвердевшие, заросшие редким сорняком - осотом, молочаем, чертополохом - непаханные поля. Шел, не особенно и остерегаясь, твердо зная, что среди ночи не встретит здесь ни полиция, ни гитлеровца.

Да и видно было в открытом поле далеко. Лишь под утро, когда закатился за горизонт необычайно большой, докрасна

раскаленный диск луны, на короткое время потемнело.

Через два часа после того, как он вышел из Солдатского, начало светать.

Нужно было подумать о том, где провести день. Вокруг - открытая степь. Только впереди, вдалеке - невысокий, осевший, уже, вероятно, не раз распахивавшийся, а теперь заросший седой полынью курган.

На макушке, как оказалось, курган этот был разрыт, и, судя по всему, очень давно. Незасыпанная яма заросла полынью, деревеем, чабрецом.

Быстро светало. На востоке над далеким горизонтом багрово прояснилось небо. Низко над полями тревожно пламенела утренняя заря. На западе, в нескольких километрах от кургана, обозначилось в долине какое-то село... Если верить карте и если он, Левко Невкыпиль, не ошибается, село этого в данном месте быть не должно...

От этой неясной еще догадки в груди глухо защемило. Но... что поделать? Должен оставаться целый день именно здесь. Одиноким, ничем не защищенный, открытый любой неожиданности...

Левко распахнул стеганку, сбросил на землю мешок и лег в полынь. Пото?! снял с головы старый картуз и положил перед собой автомат...

Почти весь день степь вокруг была безмолвной, пустой. Лишь коршун над головой да треск кузнечиков в бурьяне. И эта тишина, казалось бы такая сейчас желанная, с каждым часом все больше тревожила и пугала.

Уже под вечер на востоке степь вдруг ожила, зашевелилась сотнями темных мелких фигур. На зеленом фоне кукурузного поля они, как муравьи, возникали из оврага и длинной цепью рассыпались по степи. Двигались, не увеличиваясь и не приближаясь, мимо его одинокого кургана куда-то на север...

А позже такой же муравейник зарябил и на западе от него, в направлении того села, не отмеченного почему-то на карте.

"Облава! Безусловно, облава! - с каким-то даже облегчением подумал Левко. - Выходит, о нас тут уже узнали! И наверное, никто из наших не попался, раз идут облавой..."

Этот бесшумный муравейник справа и слева прокатился мимо Левка и через каких-нибудь полчаса исчез, рассеялся где-то на севере по оврагам и ложбинам.

"Теперь вслед за этой облавой и мне будет безопаснее двигаться", подумал Левко, до предела измотанный длительным напряжением.

Дождавшись наконец сумерек, разбитый так, словно бы он от восхода до заката размахивал цепом, старшина Невкыпиль тоже

тронулся дальше на север.

Целый час он брел по кукурузному полю и выбрался в разреженное, вытоптанное полициярами просо. Впереди из-за посветлевшего горизонта высунулся краешек полной луны. Навстречу из-за бугра вынырнули дубы. Старые, кряжистые дубы... Наконец-то лес! Но ведь с момента ухода с кургана не прошло и двух часов! Нет, радости этот лес Левку почему-то не принес. Лишь тревогу да настороженность. Не мог же он, в самом деле, ошибиться в расчетах. А если так, если не ошибается, то леса здесь, ка этом месте, быть не должно...

Лес оказался, правда, всего лишь небольшой рощицей в широком степном овраге. Посадка, а не лес. Левко пересек ее за каких-нибудь полчаса. И все же... все же на карте этой рощицы не было. И это обескуражило и даже напугало старшину больше, чем огонь, в который он летел с неба, и облава, которую каким-то чудом пронесло мимо него.

Но потом, кажется, все начало складываться более благоприятно. И степная равнина, и грейдер, широкий, хорошо накатанный, с востока на запад, и даже пересохший ручеек в кустиках аира - все это не рассеивало сомнений, что он твердо шел по намеченному маршруту.

И вот в половине четвертого впереди на фоне звездного неба показались зубцы далекой темной стены леса... Теперь уже, наконец, настоящего, того самого долгожданного Каменского леса!

Левко сначала заторопился, почти побежал. Потом спохватился, замедлил шаг и, не доходя с полкилометра до лесной полосы, залег в густых зарослях подсолнуха. Впереди до самой лесной опушки простиралась голая стерня. Ярko и неутомимо разливала вокруг свой зеленоватый свет луна. При этом освещении каждая былинка видна была как на ладони.

Левко пролежал минут десять, осмотрелся, прислушался и, не обнаружив ничего подозрительного, двинулся дальше к спасительной, такой желанной и, наконец, достигнутой лесной черте.

Чистую, заросшую сочной лесной травой полянку с двумя узловатыми дубами посредине надвое пересекает узенькая, хорошо утоптанная тропинка... А по-настоящему лес начинается с кустов орешника. Дальше черноклен, граб, молодой дубняк... Тропинка, огибая кусты, вьется куда-то вниз. Мягкая прохлада освежает разгоряченное лицо. Пахнет прелыми листьями, грибами и еще чем-то лесным, горьковато-мятным. Узенькая глубокая лощина, заросли папоротника, бузины. Крутой пригорок, и за ним сплошной дубовый лес...

Тропинка сбивается куда-то в сторону и выводит Левко к длинной и ровной, будто по линейке проведенной, лесной полосе.

От быстрой и долгой ходьбы ноги гудят, тело сводит судорогой. Спина и лоб мокрые.

Лес негустой, перекрещенный темными тенями, какойто домашнему уютный. Безветрие. Ни шелеста, ни шума. Тишина особенная, глубокая, как самый крепкий сон. Удивительная, торжественная тишина, как в заколдованном царстве.

По карте до Сорочьего озера оставалось километров десять. И если идти от Солдатского строго на север, оставив справа село Казачье, обязательно на него выйдешь.

Покамест можно было идти вдоль полосы. Неизвестно, правда, сколько. Какой-нибудь километр-два или до самого озера? Квадраты или лесные кварталы на карте не обозначены. Но прежде чем пробиваться дальше, нужно было отдохнуть и перекусить, хотя сейчас Левку совсем не хотелось есть.

Старшина выбрал уютное место возле старого дуба.

Сел на голую, устеленную лишь прошлогодними, спрессованными в лепешку листьями землю. Достал из мешка плиточку шоколада, отломил кусок, положил в рот и, расположившись поудобнее, прислонился к шершавому и теплому стволу...

Проснулся он внезапно. Вероятно, от холода. Вздрогнул всем промерзшим телом и широко раскрыл глаза.

Все вокруг него в сизой густой измороси - выпала крупная роса. Было влажно и прохладно. Меж стволов запутались синие космы тумана, пронизанные розовыми полосами не жаркого еще, низкого и невидимого солнца. Верхушки деревьев звенели залиvistым, оглушительным птичьим щебетом. В правой руке Левка стиснута надломленная плитка шоколада. Сплошным подвижным слоем ее облепили желтые лесные муравьи.

Левко огляделся. Как это он только позволил себе заснуть?

Вокруг все спокойно. Кроме птичьего щебета, никаких других звуков. Парень постепенно успокаивался.

Сдул с шоколада суетливых муравьев, брызнул себе в лицо росой с большого папоротника, растер ее ладонью и, перекусив шоколадом, двинулся дальше.

Он долго шел вдоль узенькой межи. Потом, когда она исчезла, пробивался напрямик через лес, который с каждым шагом становился все гуще и плотнее. Шел ровно три часа. И тут внезапно из-за кустов орешника открылось перед ним озеро...

Оно сразу же ему не понравилось. Не таким представлял его себе, не таким выглядело оно на карте. По крайней мере, там оно

было значительно больше. А тут в глубоком овраге, плотно окруженном лесом, почти круглая небольшая впадина, до отказа наполненная черной тяжелой водой. Обыкновенный пруд. И вода показалась Левку такой же, как она обычно бывает в пруду, охваченном по краям ряской и водорослями.

С одной стороны озеро упиралось в ровный зеленый вал, похожий на старинную, сплошь заросшую водяными и лесными травами плотину.

Левко остановился на пригорке, под кустом орешника.

Снизу, со стороны озера, тянуло прохладой, густо замешенной на холодной мяте, бузине и валерьяне. Остановился и, сдерживая в себе внезапную тревогу, пытался понять, что же его здесь насторожило.

Быть может, Сорочье озеро где-то чуть дальше? Вон там, за теми дубами? А это лишь его начало, исток, почему-то не обозначенный на карте? Но бывают ли такие неточности на картах? Одним словом, как бы там ни было, а обходить его он все же не имеет права... Местность кажется очень глухой, безлюдной. Тем лучше...

Он достал из кармана свисток. И несколько раз с условленными интервалами просигналил: "Пить-пить, пить-пить!" Слабенький писк утонул без ответа в зеленых зарослях и птичьем щебете.

Левко долго стоял, затаив дыхание, прислушиваясь и всматриваясь в заросли. Не обнаружив ничего подозрительного, решил обойти озеро вокруг. Весь путь, от места первой остановки и обратно, прошел довольно быстро и без особых трудностей. В зарослях насыпи, похожей на плотину, нога человеческая не ступала, вероятно, уже десятки лет. Сотню шагов, которые отделяли его от противоположного берега, Левко одолевал дольше всего, минут двадцать, острекавшись крапивой, исцарапав себе лицо и руки.

В конце плотины Левко заметил в густых зарослях следы какого-то очень старого, истлевшего уже сруба.

И сразу же за ним в побегах высокой бузины притаился каменный фундамент какого-то здания: кладовки, погреба?.. Вероятно, здесь когда-то, очень давно стоял дом.

Все заброшено, почти сровнялось с землей, проросло бурьяном и многолетними кустами, совершенно одичало.

А все же... что-то тут было настораживающее. Непостижимое и неуловимое. И вместо того, чтобы тронуться дальше, как он уже было решил, старшина попятился глубже в кусты. Присел на какой-то старый, тоже насквозь прогнивший пенечек. Оттуда ему хорошо видны были гать, место, где укрывался под бурьяном

старый сруб, и весь противоположный берег. Сидел долго, вслушиваясь в монотонный лесной шум. И все пытался понять свою тревогу, которая с каждой минутой все острее давала себя знать...

Вокруг тишина, глушь, безлюдье.

Уже с большим трудом Левко подавлял в себе желание подняться, снова обойти пруд, окликнуть кого-то в полный голос, подать о себе весть. Он почему-то был уверен, что на этот раз непременно услышит ответ.

Наконец все-таки поднялся. Обходя заросли орешника, подул в свисток: "Пить-пить!" Повернулся лицом к черной воде, держась рукой за гладенький ствол черноклена, шагнул по крутому склону вниз: "Пить-пить!"

И, будто в ответ, что-то внезапно треснуло, взорвалось у него в затылке. В глазах вспыхнула, мгновенно угаснув, ослепительная молния. И все вокруг поглотила тьма...

Сначала в помутившееся сознание пробился однообразный гул человеческих голосов. Потом шум и тупая боль в голове.

Левко вздохнул, попытался вытянуть руки и вдруг почувствовал, что они у него связаны за спиной. Что за странный сои? Лежит, вероятно, неудобно, и оттого ему мерещится черт знает что! Так иногда бывает... Нужно заставить себя проснуться... Однако на сон это словно бы не похоже... Тогда где ж он? Ага... Ночной пожар, костер, на который он падает с неба. Да, да... потом лес...

черное озеро... Звук свистка: "Пить-пить!"

Так ничего больше и не вспомнив, Левко опять глубоко вздыхает и широко раскрывает глаза.

Под правой рукой у него что-то жесткое и колючее.

Пахнет сухим сеном. Он лежит на боку, и руки у него...

в самом деле крепко связаны. Так крепко, что левую он даже не ощущает. Онемела... Сейчас, вероятно, ночь...

Какое-то еле освещенное слабым желтоватым светом помещение. Он пробует повернуть голову, и резкая боль, сразу возникнув где-то в затылке, острой вспышкой бьет в темя и распирает виски. Невыносимо тоскливое ощущение зарождается в груди и отвратительной вялостью разливается по всему телу. Что же с ним случилось?

Здесь, кажется, кто-то есть... Кажется, он слышал какието голоса...

Желтоватый свет, приближаясь, становится ярче. Ктото невидимый подошел из сумерек и нагнулся над ним, держа в руке обыкновенную керосиновую лампу. Свет ослепляет, и Левко закрывает глаза.

- Ну что?.. Очнулся? - слышится откуда-то из-за спины молодой голос.

- Кажется, - неторопливо отзывается прямо над Левком глуховатый, с хрипотцой басок.

- Здорово ты его!..

- Ничего... Смерть ему суждена не от этого... Ну как? Немного очухался?

Из-за руки, которая держит лампу, из сумрака появляется над ним незнакомое лицо. В глазах, отражаясь от лампы, два колючих огонька. Густо нависшие брови.

Кончик носа острый. Запавшие темные щеки и сухой, костлявый подбородок. Резко очерченные, твердые губы выталкивают неторопливо и скупно:

- Ты кто такой?

Левко молчит. Прищулив глаза, лихорадочно размышляет: "Где я?.. Кто они?.. Полицай?.. Или... может...

может, партизаны? А что, если они нашли у меня "справку?" по-настоящему ужасается он. - Что я им скажу?

Не поверят... Как же узнать, кто они? Ничего, ни слова определенного первым не говорить. Не отвечать прямо ни на один вопрос... Даже тогда, когда они будут признаваться, кто такие. Даже тогда... До тех пор, пока не будет убедительных, твердых доказательств!"

Резко очерченные губы кривятся в еле заметной улыбке:

- Гордый... Даже не отзывается.

- А может, он еще оглушен? Может, дать ему воды? - слышится молодой голос сбоку.

- Почему бы и нет?.. Воды не жаль.

Кто-то рукой поддерживает ему голову. Левко не отказывается, пьет. Вода капает из обливной кружки, стекает по подбородку на шею. Напившись, Левко откидывает голову на сено, крепко зажмуривает глаза. Какой-то неведомый до этого страх холодит ему сердце. От сознания этого страха на душе у парня тоскливо и муторно, ему становится стыдно самого себя...

Некоторое время все молчат. Лишь немного погодя - тот же хрипло-глуховатый басок:

- Так что же ты, так и будешь безмолвствовать?

- А где я? - решается наконец Левко.

- Сам должен знать, куда тебя несло. Никто тебя сюда не звал.

- А вы кто такие?

Молчание. Потом еле слышное коротенькое "гм", за которым кроется, вероятно, скупая ироническая улыбка.

- Вот что... голубь сизокрылый... Задаем вопросы здесь мы. А

твое дело только отвечать.

- Я ничего не буду говорить, ни слова, пока не узнаю, где я и кто вы...

- Гм... героический парнишка! Надолго ли только хватит твоего героизма? А нам с тобой возиться недосуг...

Лучше бы говорил по-хорошему. А то, когда шлепнем, разве лишь деве Марии будешь рассказывать. Тебя кто послал? Дуська? Туз? Или сам Мюллер?..

Левко молчит, не отвечает. Но эта немецкая фамилия... Мюллер... Тогда получается... он у партизан... но в чем же они его подозревают? Мюллер? Неужели?.. Неужели они нашли его распродклятую "справку"? Возможно.

Возможно, нашли, а возможно, и нет. Во всяком случае, он должен молчать до тех пор, пока не удостоверится окончательно... Мюллер... Ох, черт, как ломит затылок!..

Интересно, чем это они его так угостили?..

- Так что же, будем молчать?

- Я сказал, - тихо, но твердо отвечает Левко.

- Ну... дело твое... Только запомни, времени у тебя не так уж и много. Только и успеешь в грехах исповедаться и покаяться. Посиди, остынь да подумай, пока мы хорошие.

Лампа плывет куда-то вверх и исчезает.

Цепкие сильные руки хватают старшину за плечи и тащат куда-то в сторону. Усаживают в углу, спиной к стене. Напротив, высоко вверху, в нише лампа. Фитиль прикручен... Двое - один, щуплый и невысокий, и второй, массивный и плечистый, - неслышными тенями промелькнув перед его глазами, пропадают в темном отверстии.

Они не появлялись очень долго. Левко сидел в полутьме, медленно привыкая к фантастическому свету, осваиваясь в незнакомом помещении.

Он, оказывается, в глубоком погребе, стены которого обшиты прогнившими, покрытыми плесенью досками. Чадит лампа. На полу толстый слой сухого свежего сена.

Справа ниша. Большая, на полстены, и, вероятно, глубокая. Отверстие ее заложено деревянными ящиками и мешками. Прямо перед глазами узкое темное отверстие- вход. Виднеется и несколько обыкновенных земляных ступенек с настеленными сверху дощечками. Ступеньки теряются где-то вверху, в сплошной темноте.

Итак, не что иное, как глубокий и темный погреб. С неба и... прямо в яму. Забавно все-таки. Неужели это где-то поблизости от того черного озера... Возможно даже, что сейчас совсем и не ночь... Возможно, где-то там, наверху, ясный солнечный день...

Чем они его так оглушили?

И откуда они взялись? Сколько уже прошло времени?

Они, вероятнее всего, партизаны из отряда имени Пархоменко. Ведь именно здесь, в этом лесу, им надлежит быть.

А вот погреб... Нет, на землянку что-то не похоже. Какого-то укрытия, какая-то секретная база. И потом этот Мюллер, который якобы должен был послать Левка сюда!

Местный фюрер? Комендант? Гестаповец? Командир карательного отряда? Похоже, именно они и являются партизанами. Но... рисковать, довериться, не имея твердой убежденности, поверить на слово он не имеет права. Надо выждать. Подойдут (если уже не подошли) наши, свяжутся с партизанами, услышат, что его задержали.

Увидят отобранное у него снаряжение, и... все станет на свое место. Хорошо бы проверить, что они у него отобрали и что оставили. Самое главное, конечно, та "справка"!

Если они уже знают о ней, если они в самом деле партизаны, тогда... Известно же, что партизанам негде держать пленных. Значит, стоит лишь нашим, нашему командиру где-то задержаться на одни или двое суток, тогда, чего доброго, могут в самом деле шлепнуть, как говорит этот высокий. Чертова ситуация! Хоть бы узнать, что же со "справкой".

Проверить это он не имеет никакой возможности.

Руки у него скручены назад, связаны крепко, умело, и попытки освободить их не дают ни малейших результатов. Ох, не перехитрить бы самого себя с этой "справкой"! Ведь настоящее удостоверение имеет один лишь командир! А что, если с командиром случится что-нибудь непредвиденное? Гм... Будто в слепом полете можно что-нибудь предвидеть! Чертова "справка"! Вот так ситуация!

Время тянется невыносимо медленно и невыносимо нудно.

Хоть бы часы! Но он не может нащупать даже, оставили или не оставили они ему часы...

Беззвучно отделяется от стены, становится между ним и светом какая-то тень...

- Если хочешь, можешь подкрепиться, - раздается над головой молодой голос.

Да, это он, тот самый, низенький и щуплый.

- Было бы чем... - коротко бросает Левко.

Незнакомец становится на нижнюю ступеньку и на цыпочках тянется к лампе. Чуть-чуть увеличивает свет.

В подвале становится виднее. Этот незнакомец в самом деле низенький и худенький, будто мальчик. В каком-то коротковатом свитере. На голове темная фуражка со странным большим

козырьком. Лица не видно. Оно скрыто в тени. Из-под козырька виднеются лишь тонкая, с острым кадыком шея и пятно округлого подбородка.

Неслышно, будто тень, неизвестный делает два или три шага, и на колени Левка ложится что-то завернутое в бумагу.

- Ешь!

- А чем я его возьму? Носом?

- И то правда! Повернись, развяжу тебе руки. Все равно ничего сделать не сможешь и никуда отсюда не убежишь.

Руки совсем онемели... Некоторое время Левко размахивает ими над головой, разгоняя застоявшуюся кровь, потом растирает. Заодно убеждается в том, что часы ему все же оставили. Интересно, который час?

Но выдавать свое любопытство в присутствии постороннего не торопится. Разворачивает бумагу - обрывок газеты, - достает оттуда свой же, кажется, бутерброд (на ржаной краюхе жирная американская тушенка и ломтик голландского сыра) и неторопливо, но с аппетитом жует...

Незнакомец в странной фуражке снова тянется к лампе, прикручивает фитиль.

- Перекусишь и, если хочешь, можешь поспать, - бросает он и точно так же, как и появился, исчезает.

Покончив с бутербродом, Левко вытирает клочком газеты замасленные пальцы и, смяв сложенную вчетверо бумажку в кулаке, долго-долго сидит, опершись о холодную стену, присматриваясь и прислушиваясь. Есть ли здесь еще кто-нибудь, кроме него? Сидит и ждет так долго, что тот, кто мог бы здесь таиться, уже не выдержал бы и должен был выдать себя если не словом, то хотя бы каким-нибудь движением или дыханием. Но, кажется, сейчас в погребе и в самом деле никого нет.

Левко поднимается с земли. Переступает с ноги на ногу, размахивает руками, выгибает спину, разминает онемевшее тело. Потом осторожно, неторопливо, почти ощупью обходит свою неожиданную тюрьму по кругу. Обшивка истлела и в некоторых местах даже проваливается от прикосновения пальцев. Ниша, размеры ее трудно установить, плотно забита мешками и ящиками. Какие-то, вероятно, продукты... Если бы в этих ящиках было оружие, тогда ему не развязали бы рук или, по крайней мере, не оставили бы одного. Земляные ступеньки круто поднимаются вверх, и конца им не видно...

Левко становится на нижнюю. На ту самую, на которой недавно стоял незнакомец. Точно так же тянется рукой к лампе. Однако выкручивать фитиль не решается.

Просто подносит часы к слабому желтоватому огоньку.

Без пяти двенадцать... Гм... двенадцать... А может, двадцать четыре? Следующего пли, кто его знает, какого дня... или ночи?

...Лоскут газеты... Пол-листа. Низ. Вся верхняя часть с заголовком оторвана. Газета немецкая. И, судя по какому-то случайному подзаголовку (больше ничего старшина при таком свете прочесть не может), довольно устаревшая: "Эластичное и плановое сокращение фронта на Северном Кавказе... Героические немецкие орлы под Новороссийском..." Следовательно, отзвук Сталинградского котла. На другой стороне - фюрер с оторванной головой.

Один лишь мундир и рука с зажатой перчаткой и свастикой на рукаве... Более крупные буквы заголовков:

"Провидение господнее всегда с немецким народом!"

Наше время - впереди. Тотальная война и тотальная мобилизация..." Да... Немцы или гитлеровские холуи - пускай даже эта газета и старая - подобным образом обращаться с изображением "обожаемого фюрера", вероятно, побоялись бы. А впрочем... Эта далекая глушь...

И третий год войны как-никак...

Левко еще и еще раз обходит вдоль стены погреб - всего какой-то десяток коротеньких шагов. Потом располагается на старом месте. Сидит, полудремлет, прислушивается... В погребе тихо, нигде, кажется, никого. За ним не следят, не прислушиваются. Но береженого и бог бережет. Левко словно бы невзначай, спросонок кладет руку за борт стеганки, еле заметно шевелит пальцами. Боковой большой карман между подкладкой и верхом расстегнут и совсем пуст. Да... Но в том же кармане под самым бортом куртки пришит еще один маленький тайный карманчик. И в нем прощупывается сложенная вчетверо бумажечка. Удостоверение на имя шахтинского полицая Бабченко, который по приказу местных гитлеровских властей передвигается на запад, в Винницкую область... Никем, оказывается, не обнаруженная, не замеченная, лежит себе эта бумажечка спокойненько на месте! Так! Что же дальше? Наверное, лучше всего уничтожить, пока есть время и условия. Но ведь стопроцентной уверенности нет!

Уничтожить? Или оставить? Нет, уничтожить он всегда успеет... Лучше с этим подождать...

Его будит свет. Лампа поднесена к самому лицу. Левко оторопело хлопает глазами, прищуривается и отворачивается.

- ...Такой еще, оказывается, молодой, - спокойно констатирует где-то рядом хриплый, глуховатый басок, - и уже такой стервец.

Левко молчит.

- Ну, так как? Может, уже поговорим? А?

Левко по-прежнему молчит. Потом, будто не услышав вопроса, переспрашивает сам:

- Кто вы такие?

- А ты не догадываешься?

- Нет.

- Ну, тогда пускай тебя разбирает любопытство... Ты откуда же знаешь немецкий язык?

- А вам откуда известно, что я знаю немецкий язык? - удивляется Левко. "Во сне что-то, наверное, сболтнул?"

- Мы, голубь сизокрылый, все знаем.

- Тогда должны знать и то, откуда я знаю...

- А нам вот хочется, чтобы ты еще и сам рассказал.

- Ну, в школе учил, в институте. Студент я...

- Оно и видно... А эта школа или институт в Берлине, Мюнхене или Вене?

- В Харькове! - сердито бросает Левко, говоря на этот раз чистую правду.

- Так я тебе и поверил, - гудит басок, кажется, совсем добродушно.

- А он, может, из тех самых, из хвостдойчей, - подбрасывает сбоку щуплый молодым голосом, - как Генрих или Дуська.

"Вот тебе новая морока, - сокрушается Левко. - Дался им мой немецкий язык! Можно было бы, конечно, возражать... Но если они и в самом деле что-нибудь знают, что-нибудь подслушали? Тогда можно по-настоящему запутаться. Пускай уж лучше так. И все же кто они? Почему не говорят это прямо? И о парашютистах ни слова. Неужели еще ничего не слышали или хотя бы по моему снаряжению не догадываются? Какая-то хитрая игра. Фашистская разведка? Ей пальца в рот не клади... Ну, а если наши... Должны же они быть бдительными и оберегать себя от гестаповских шпионов? И о десанте их никто не предупреждал. Слепой ведь прыжок!.."

- ...Так вот что, голубь сизокрылый, ждать тебе уже недолго. А перед смертью покаяться следует. Давай не стесняйся... Кто тебя сюда послал? Что ты тут у нас потерял? И чего искал? Кого еще знаешь из таких вот "искателей", как ты? Кто предупредил гестаповцев о Балабановке? Кто выдал скальновчан? Не знаешь? Рассказывай лучше правду. Легче на душе будет., когда предстанешь пред ясными очами немецкого господ бога...

Ну так как?

- Кто вы такие?

- Ага... Значит, не желаешь! Ну что ж! Времени у тебя еще немножко есть. Подождем...

И снова исчезают.

Кто они? Почему так мягко допрашивают? Они (и за это - девять из десяти) партизаны. Но все тут какое-то странное. И они тоже странные. На военных не похожи, скорее на ночных сторожей в колхозе, что ли? И почему они все предупреждают, угрожают, что нет времени, а сами тянут? "Исповедуйся", - говорят, ла! Может, они кого-то или чего-то ждут? Но кого и чего? Какие "грехи"

имеют в виду?

Грехов у Левка на душе немного. Точнее, один, двухгодичной давности. Соврал в военкомате... Отец у Левка-учитель, физик. Мать - врач. А он у них единственный. Что ни говори, а воспитывали они его. Научили читать, когда ребенку еще и пяти лет не исполнилось.

Тогда же начали учить немецкому языку. В школу отдали в шесть лет. В институт приняли его как отличника, когда ему шестнадцать стукнуло, а первый курс закончил - не было еще и семнадцати. Без нескольких недель.

Тут - война! Нюся, секретарь из деканата, которой он поплакался, что забыл паспорт дома, механически отстучала справку. "Студент второго курса, год рождения такой-то, для представления в военкомат"...

То, что он прибавил себе целый год, в военкомате не заметили, послали в запасной учебно-резервный батальон... Ну, за эти два года отслужил он и отвоевал этот свой грех добросовестно, ничего не скажешь... А теперь вот, выходит, еще один грех. Возможный грех. В зависимости от того, как дальше пойдут дела. Все же, что ни говори, а лежит в потайном кармашке еще один, теперь уже по-настоящему поддельный документ. И нужно же, чтобы так случилось! И как все это кончится?

- ...Ничего он тебе не скажет!

Левко очнулся и насторожился. Голос резкий, властный. Такого тут он еще не слышал. Прозвучал словно бы над самым ухом. Что это?.. Галлюцинация?

- ...У него, понимаешь, нет выбора. А посулам твоим он не поверит. Дураков на такое не посылают.

Что-то прогудел уже знакомый хриловатый басок.

Откуда доносятся эти голоса?

- ...Допрашивать по-ихнему мы не умеем и, вероятно, не научимся... снова звучит тот, властно-резкий голос. - А тебя сюда послали не к теще на блины. Сам знаешь, чем рискуешь.

- Так я же разве что? - оправдывался басок. - Я тебя ожидал. Отсюда все равно никто никуда не выйдет.

Могила.

- Ждал и дождался. А сейчас пора кончать... Дальше

рисковать мы не можем.

"Могила"... "Пора кончать"... Слова, от которых мороз подирает по коже. "Партизаны, ясно же, партизаны! - лихорадочно пробует убеждать себя Левко... - Но как с ними объясниться?"

- А Галина сказала - доложить Викентию и чтоб без него не решать, говорит щуплый.

- Ну да! Близкий путь! Кругом облавы, а мы тут у моря ждем погоды! Пора!

Как в кошмарном сне, от стены опять отделяется темная тень. Приближается, становится человеческой фигурой. Среднего роста, в чем-то вроде военного. Крепко сбита, энергичная, подвижная. Даже тогда, когда стоит спокойно, Левку кажется все же, что она двигается. Двигается непрерывно, куда-то торопится. Левко про себя, бессознательно так и называет эту фигуру:

Подвижный...

- ...Ты уж надумался и, конечно, будешь говорить! - скорее утверждает, чем спрашивает Подвижный, будто команду подает.

- Я не знаю, что и, главное, кому должен рассказывать.

- Запомни. Нам не до шуток. Нет времени для них.

Будешь молчать - расстреляем.

- А если не буду молчать, тогда что? Все равно я должен знать, с кем свел меня случай. Иначе...

- Предположим, ты попал, куда хотел, нашел, чего искал, - резко, иронично бросает Подвижный. - Предположим, мы партизаны... Ну и что?

- Тогда естественно, - отваживается Левко, - естественно будет предположить, что я советский парашютист.

- Гм... А ты, вижу, любишь пошутить. Гляди, чтобы плакать не пришлось.

- Нет, почему же! А если я серьезно?

- Ну, ежели ты серьезно, то и мы серьезно. - В голосе Подвижного слышится явная ирония. - Нам скрывать нечего. Хозяева положения тут, как видишь, мы.

Да, мы советские партизаны.

- Пархоменковцы! - не удержавшись, радостно восклицает Левко.

- Гм... Так тебя, оказывается, послали разыскивать их?

- Да. Именно их. Я в самом деле советский парашютист.

- Ну, вот! Я так и думал. Так и знал! - почти победоносно, насмешливо тянет Подвижный. - Как же иначе! Теперь тут таких "парашютистов" из гестапо знаешь сколько за дураками охотится? Только дураки, дорогой мой, теперь уже все перевелись.

- Так вы не верите?!

ц- Допустим, не верю. Как ты нам докажешь? Попытайся,

докажи, а мы послушаем. Например, вот: объясни, как же это ты так обмишулился, попав не к пархоменковцам, а к нам?

- Как это не к пархоменковцам?

- А так... Где Крым, а где Рим!

- Не понимаю.

- Допустим... Тогда рассказывай подробно, как и что. Где приземлился, куда шел, что видел и... чего искал.

- Приземлился в селе Солдатском... Определился по азимуту, ну и... вышел на Каменский лес, к Сорочьему озеру...

- Гм... И долго же ты шел?

- По времени? Или по расстоянию?

- Все равно.

- Ну, пожалуй,, километров тридцать - тридцать пять...

- Гм... Подожди. Что-то я не пойму. Нескладно врешь... Можешь мне хоть что-нибудь рассказать про Солдатское?

- Ну как же!.. В ту ночь немцы подожгли село. Я чуть было не угораздил прямо в огонь.

- Вернее, угораздил и выскочил невредимым. Ну что же, бывает! В сказочках, конечно. Но теперь уже кое-что проясняется. Новичок ты, видать, в этих местах.

Не ориентируешься... И "легенду" плохо усвоил. Неграмотно, можно сказать. А еще карту в планшете носишь, сопляк!

- Как это, - по-настоящему обиделся за "сопняка"

Левко, - ничего не понимаю?

- То-то и оно!.. Подожди, поймешь. Мне тоже еще не все ясно. А что касается Солдатского, как ты говоришь, тут действительно... должно было бы иметь место.

как говорят... Могло быть! В ту ночь действительно горело, действительно немало было там твоих дружков!

Вот они и направили тебя к нам по азимуту, как ты говоришь.

- Ну, если так... если не верите...

- Так трудно же и поверить! Пойми! - с какой-то даже досадой воскликнул Подвижный.

- А что здесь непонятного?! - бессознательно почувствовав эту досаду, цепляясь за нее, как утопающий за соломинку, воскликнул Левко.

- А вот то! Давай не горячись и скажи мне лучше, куда ты девал свой парашют? Говори правду, ибо мы сразу же все выясним и проверим. Не думай, мы не побоимся и пойдем туда, где ты его припрятал. Знаем, не сегодня на свет родились, нас твои дружки на этот раз не тронут. Очень уж им хочется, чтобы мы тебе поверили.

- Так нет же парашюта! - тяжело вздохнул Левко.

- Нет? Как же это? Парашютист - и вдруг без парашюта?

- А так... Нет - и все. Сгорел парашют на пожаре.

- Гм... А ты веселый парень! Знаешь, я так и догадывался, что он сгорел! Что же это гестапо на такую операцию да парашют пожалело?! Как-то не верится.

Или просто не было под рукой советского?

- Я правду говорю!..

- Хватит! - сурово крикнул Подвижный. - Всю правду скажу теперь тебе я! Засыпался ты, парень! С головой. Неудачливый вышел из тебя разведчик. Если хочешь знать правду, хотя она тебе уже ни к чему, Солдатское, и Сорочье озеро, и эти пархоменковцы отсюда по крайней мере в полутора-два километра! Плохо ты, видать, слушал, чему тебя учили.

- Так девчонка же сказала: Солдатское! - задетый за живое и оскорбленный в своих лучших чувствах разведчика, забыв даже о смертельной опасности, почти умоляюще воскликнул Левко.

- Возможно... Девчонка, возможно, и сказала.

Действительно, то село, которое подожгли в ту ночь твои дружки, отсюда недалеко, около тридцати с гаком километров, и называют его у нас коротко Солдатским...

А на карте обозначается оно чуть-чуть иначе: Солдатский поселок!..

- Господи, боже мой! - почти застонал от отчаяния Левко, хватаясь обеими руками за голову. - Неужели же и в самом деле так?!

Это восклицание было таким неподдельно-искренним, столько было в нем удивления, боли и отчаяния, что даже Подвижный снова, кажется, внутренне заколебался и очень долго молчал, будто не зная, что на это ответить.

- Представь себе... - наконец произнес он тихо.

И сразу же коротко приказал: - Хватит! Нечего тянуть кота за хвост! Обыщите его... и как можно тщательнее.

Потом сразу куда-то исчез. Растворился в темноте, будто его и не было.

Левко снова остался один. Долго сидел просто так, ни о чем не думая, прибитый и оглушенный. Потом подумал: неужели это правда? Неужели их могли сбросить так далеко и так неточно? Если только это правда, тогда... и надеяться напрасно! Он, разведчик, поверил, как дурак, какой-то девчонке, ничего у нее даже не переспросив. А вот все другие, совершенно неопытные, не разведчики, конечно же сориентировались правильно.

Да и на этот Солдатский поселок ни один из них не натолкнулся... Сориентировались как следует и направились в настоящий Каменский лес, к настоящему Сорочьему озеру. Это не важно, что далеко. Все равно дойдут.

Всегда дойдут, когда знают точно, куда именно нужно идти. А он... Никто, вероятно, из них даже и не догадывается, что... "Хватит!.. Тянуть дальше нечего! Обыскать!

И как можно тщательнее!" Обыскать! Мама родная!

А "справка"! Если и есть еще хоть какая-нибудь капля надежды, то... Обыщут, найдут удостоверение шахтёрского полиция, и... чем он им тогда докажет? Как они после того ему поверят?.. Уничтожить! Немедленно и как можно осторожнее уничтожить!

Стараясь скрывать каждое движение, заложил правую руку за борт стеганки, указательным пальцем, нащупал в потайном карманчике проклятую бумажонку, поддельный документ, который должен был бы в других условиях спасти его, а теперь вот... Зажал его двумя пальцами. Потянул потихоньку. Вытащил. Опустил руку с бумажкой на колени. Подвинул осторожно к правой левую руку. Взял обеими. Р-р-раз! Рванул... И в тот же миг что-то юркое и упругое, что-то темное метнулось от стены и тяжело упало ему сразу на грудь, на руки и на колени.

- Ух ты, гад! - пригрозил молодой, знакомый уже голос щуплого.

Так произошло непоправимое. И теперь уже все, теперь конец! Спасти его может только чудо. Но чудес, как известно, не бывает...

Его обыскали. Теперь уже действительно отобрали все подчистую. Оставили в одной рубашке и штанах.

Отобрали и часы, которые указывали в ту минуту ровно половину пятого утра или вечера неизвестно какого дня.

Фитиль в лампе подкрутили, в погребке стало хорошо видно. Хотя он все равно никого из них не увидел. Ибо тот, Подвижный, приказал стать лицом к стене и не оглядываться. Предупреждение было излишним. Левко и сам уже не интересовался никем и ничем. Он стал теперь абсолютно равнодушен ко всему на свете. Весь мир был на одной стороне, а он, Левко Невкыпильный, на другой.

Он еще что-то вспоминает, прощается с родными, товарищами и знакомыми. Прощается с землей и небом, облаками и травами, солнцем и луной. Со веем-веем, о чем успел узнать и что успел увидеть в свои, оказывается такие короткие, двадцать лет. Он думает обо всем, что еще стоит у него перед глазами, но для него уже недостижимое, далекое и равнодушное к нему. Он теперь один-одинешенек во всем мире, один на один со своим огромным одиночеством. Вот получается как! Выходит, в твою последнюю, в твою смертную минуту остаешься ты с самим собой! Все еще словно бы рядом, возле тебя, но уже будто за

толстой, непроницаемой стеной прозрачного стекла... Ты один. Этот миг ты должен пережить, эту грань перейти лишь самдруг. Никто этого с тобой не разделит и не переживет, хотя тех, кто рад был бы своей грудью защитить тебя от смерти, нашлось бы немало... И в этом одиночестве, которое чувствуешь с глазу на глаз со смертью, и таится то, что люди называют страхом. Великим страхом...

И все же Левко не должен, не может, не имеет права поддаваться страху! Он не смеет выказать его перед ними... Пускай эти хлопцы - свои люди, к которым он спустился на парашюте, чтобы оказать им помощь, пускай они все же подумают о нем хорошо, как о смелом, мужественном человеке! Пускай даже не теперь, пусть вспомнят тогда, когда все выяснится, когда узнают о том, что он, Левко, в самом деле свой!

Но, в конце концов, "страх вовсе не в опасности, он в нас самих...". Левко вычитал это когда-то у Стендаля, и фраза засела у него в голове. "В нас самих..." А если в нас самих, то, выходит, мы сами можем его и преодолеть! Конечно, не бояться смерти - очень высокое искусство, и владеет им далеко не каждый. И менее всего самые большие жизнелюбы. К сожалению, очень часто открывается оно именно перед тем, кто уже не дорожит жизнью. Или вот как и ему, старшине Левку Невкыпилому, постигшему неизбежность, окончательную, неотвратимую свою обреченность. Ну что же, спасибо, что оно, это искусство, открывается - собственно, уже открылось! - ему хотя бы и таким вот образом!

Ему заламывают руки назад и снова крепко связывают. Кто-то там берет конец веревки и слегка дергает.

Левку кажется, что это может быть тот высокий, с глуховатым баском.

Подвижный спрашивает, не хочет ли он в последний раз что-нибудь сказать.

- Я хочу, чтобы вы запомнили: я советский парашютист. Моя фамилия Невкыпиль Лев Никанорович.

Отец - Никанор Петрович, до войны жил...

- А что-нибудь другое ты не хочешь сказать? - прерывает его голос Подвижного. - Правда могла бы еще кое-что изменить: кто послал? Кто выдает вам подпольщиков? Кого и чего искал ты здесь?

- Нет... все... - тихо подытоживает Левко.

- Тогда действительно все!.. Слушать приказ, не оглядываться... Ведите!

Оказывается, ведут его вовсе не по тем ступенькам, которые все время маячили перед его глазами, поднимаясь куда-то вверх, в темноту. Перед ним чья-то нога отодвигает снопик соломы, и в

полу у самой стены открывается узенький, освещенный снизу слабым лучом лаз.

Высокий (а это, оказывается, в самом деле он) слегка дергает за веревку и толкает Левка в плечо:

- Давай... Ногами вперед. Туда, вниз.

Левко осторожно, послушно опускает в лаз левую ногу, нащупывает ступеньку и тогда уже смелее ставит рядом с левой и правую. Ага! Так вот какое дело! Вот где, выходит, они скрывались! Хотя могли прятаться и там, в темной глубине верхних ступенек.

Ступенька за ступенькой по узкой щели (в одну стену упираешься спиной, а противоположной касаешься носом) протискивается Левко куда-то вниз, в какое-то подземное царство.

На глубине человеческого роста, внизу, еле-еле освещенный, теряется в сумраке настоящий подземный ход.

Этакая узенькая пещера, вдоль которой, согнувшись почти вдвое, может пройти человек. Шагов через десять в неглубокой нише - лампа, источник того слабого луча.

- Вперед! - командует глуховатый басок.

Левко продвигается, сгорбившись, вдоль стены. Путешествие это для него особенно тяжелое, даже унижительное. И бесконечно длинное. Хотя успел он сделать не более двадцати шагов. Под ногами скользко. Чем дальше, тем все ощутимее. Склизкое болотце, слякоть, потом вода... Впереди серое светлое пятно.

- Не останавливаться! - команда за спиной.

Под сапогами хлопает вода. По щиколотки, выше, вот уже почти вровень с верхом голенищ.

- Не останавливаться!

Впереди все больше проясняется, светлеет. И вот уже можно догадаться, что там отверстие, а свет естественный, дневной свет, хотя и какой-то тусклый.

Вода, поднявшись вровень с голенищами, так и держится на одном уровне. Дно твердое, песчаное. Еще несколько шагов и... Левко наконец выпрямляет спину и невольно останавливается... Справа и слева от него густой стеной стоит высокий камыш. Полузалитый водой вход в подземный лаз маскируется этим камышом почти наглухо. Перед глазами ровная, черная гладь лесного озера. Того самого озера... Над озером клубами серой ваты низкий бесцветный туман. Прямо из тумана - крутой противоположный берег. Темная зелень осоки и камышен, густые заросли лозняка, зеленые кудрявые купы дубняка и темно-голубое, чистое, рассветное небо.

Ослепленный утренним светом, Левко плотно смежает веки и глубоко, полной грудью вдыхает живительную смесь по-

особенному сейчас острых, неповторимо ароматных лесных запахов...

- Не останавливаться! - рывок за веревку. - Не оглядываться!.. Может, все-таки завязать ему глаза?

- Да... пускай уж!

- Налево и прямо вдоль берега!

Еще два-три десятка шагов по колено в холодной утренней воде, мимо камышей, через осоку, пробираясь в водяных лилиях, под нависшим над самой водой шатром вербовых ветвей. Потом еле заметная в лесных зарослях узенькая тропинка. Спускаясь с пригорка, она срывается прямо в воду.

- Налево. На тропинку. Прямо, по тропинке. Не оглядываться! ...Не оглядываться!.. Не оглядываться!..

Ни дуновения ветерка, ни малейшего шума. Спят деревья, травы, спят вода и воздух, спят птицы. Или же только притаились в ожидании близкого уже солнца...

Над самой водой - куст калины, весь в гроздьях покрасневших ягод. Сомкнулись над тропинкой ветви буйнолистного орешника. Почти в рост человека вымахали папоротники, побеги бузины. Колючая ежевика с синими, будто бы повитыми туманцем, ягодками густо заплела длинными колючими плетями темный ивняк.

...Не оглядываться!.. Не оглядываться!..

Узенькая тропинка крутыми витками продирается среди кустов куда-то вверх... Шагает по этой тропинке Левко Невкыпилый. Мягко ложатся ему на плечи шершаво-холодные лапы орешника, касаются щек, скатываются за воротник холодные тяжелые шарики росы.

Лес тихий, окутанный утренним сном, весь в серебристосиней измороси...

Вот-вот перед первым, несмелым еще солнечным лучиком заискрится, заиграет это синеватое серебро мириадами золотых огоньков, засияет всеми цветами радуги...

Вот только успеет ли увидеть все это старшина Невкыпилый?..

...Идти прямо... Не оглядываться!..

Он идет, так и не видя своих конвоиров, так и не взглянув в лица своим друзьям-врагам, которые провожают его сквозь эту лесную сказку в последний далекий путь. Такой далекий, что из него никому и никогда не было возврата.

Правда все это или только мерещится ему?

Неужели это он, Левко Невкыпилый, старшина Невкыпилый, Лев Никанорович Невкыпилый (он любил и настаивал, чтобы называли его именно так - Лев!), полный сил, молодости,

энергии, желаний, надежд и планов, идет по этой сказочной тропинке для того, чтобы всего лишь через несколько шагов превратиться в ничто?!

Он, наполненный горячим трепетом жизни! Человек, в сознании которого может вместиться вся необозримая вселенная! Он, кто был уже студентом, читал Толстого и Шевченко, знал наизусть огромное множество чудеснейших стихов, изучал философские системы и строение атома, постиг величие и бесконечность невидимых миров!

И виноват, наверное, в этом ужасном, что с ним сейчас происходит, он сам. Только он! Чего-то недосмотрел, чего-то недодумал. Где-то в чем-то не так повел себя.

Перехитрил, выходит, самого себя...

...Не оглядываться!.. Не оглядываться!..

И самое бессмысленное, самое невероятное, что все отнимут у него свои, родные люди, ради которых он не жалел даже самого дорогого - жизни!

Как это по-настоящему страшно, когда - свои. Нет, вероятно, ничего страшнее, ничего трагичнее.

Но не нужно, не нужно... Страх, он, оказывается, в нас самих. И не бояться смерти - великое искусство.

Быть может, самое великое и самое страшное из искусств!

...Не оглядываться! Не оглядываться!..

А так ведь хотелось бы дожить до нашей победы!

Только бы до победы! Страшно даже подумать, что он не доживет до этого времени, не увидит и не почувствует победы! Нашей! Его победы!..

...Не оглядываться!.. Не оглядываться!

ЛЕЙТЕНАНТ ПАРФЕН ЗАМКОВОЙ

Ночь лунная. Небо звездное, чистое. А внизу - бездонная темнота. Летишь - и не знаешь, когда, куда и как долетишь. Нужно подготовиться к приземлению, а определить приземление можно лишь приблизительно.

Что там внизу, под ногами?

Где-то сбоку, под необычайно большим, густо-малиновым шаром луны, сверкнули и сразу же исчезли из глаз какие-то костры. Мелькнули, и сразу же что-то заслонило их... Куда он падает?

Сильный, неожиданно острый удар снизу в левую подошву так, будто кто-то выстрелил с земли и пуля прошила все тело до самого темени. Левую ногу сразу же перестал ощущать. Правая же как будто все еще летела в пропасть. Успел еще понять, что резко заваливается на правый бок.

На какое-то время потерял сознание. Сколько это длилось, не

мог бы сказать даже приблизительно. Однако, вероятно, не особенно долго. Хотя бы потому, что, опомнившись, увидел: стоит над ним все та же луна, только вроде бы еще огромное, еще багровее.

Инстинктивно рванул левую руку (хотел взглянуть на часы), и сразу же в глазах потемнело от нового, невыносимого приступа боли, которая остро отдалась где-то в надбровье.

Пока преодолел эту боль, прошло много долгих мгновений. Потом попытался хоть как-то сориентироваться.

Вокруг невысокие, в человеческий рост, редкие кусты и старые, потемневшие пеньки. Поблизости от Парфена таких высоких пней пять или шесть. Именно на одном из них он вывихнул, а может, и сломал ногу.

Теперь лежит на боку, заломив под себя левую руку, запутавшись в стропах парашюта. Под боком, врезаясь в ребра, жестко, неприятно давит граната или пистолет.

Пошевелинуться боязно. Каждое движение причиняет такую боль, что от нее мутится в голове, а перед глазами вспыхивают ослепительные искры.

Однако нужно что-то предпринять. Хотя бы замаскировать парашют. Ведь он так откровенно белеет, так нахально светится, распластавшись на кустах!

Перемогая боль, слабость, горечь неудачи, пересиливая самого себя, Парфен все-таки высвобождает левую руку, правой достает из кобуры пистолет. Потем из кармана- гранату и, заняв таким образом "круговую оборону", затихает и прислушивается.

Ночь стоит беззвучная, будто замороженная призрачным, угасающим уже светом полной луны. Вокруг темные кусты и мертвые пни. Вверху жуткая звездная пустота. Ощущение такое, будто на всей планете, кроме него, комиссара партизанской десантной группы лейтенанта Парфена Замкового, нет ни единой Души.

Однако свои-то, наверное, должны все-таки быть где-то поблизости! Быть может, стоит лишь подать голос, и товарищи сразу же поспешат на помощь?

Свисток из нагрудного кармана достать не так уж сложно. Парфен зажимает его губами: "Пить-пить!"

Короткая пауза, и снова: "Пить-пить!" Потом умолкает и ждет ответа.

Ни единого звука, ни шелеста. Вокруг все мертво, притаилось, словно заколдованное.

А время не ждет. Ночь, какой бы она ни была, идет на убыль. Пускай и заколдованная, пускай и неслышно, незаметно, а все-таки с каждым мигом уплывает она в вечность, приближая утро...

Утро, которое не должно захватить его врасплох!

Он обязан перебороть обстоятельства, помочь самому себе, во что бы то ни стало выйти из этого страшного положения!

А покамест еще раз: "Пить-пить! Пить-пить!"

Тишина, пустота, безлюдье.

И все же Парфен Замковой здесь не один! Сразу же, как только в звездном чистом небе раскрылся таинственный белый цветок парашюта и стал приближаться к темной земле, три пары глаз зачарованно, испуганно, с восторгом следили за ним. Следили, пока не увял он, опадая мягкими белыми волнами на темные кусты.

Аполлон С греха, Тимко Цвиркун и Марко Окунь, остолбенев от удивления, плотно прижавшись друг к другу, сидели на гребне косогора и смотрели на белый купол парашюта, как на чудо, как на что-то сверхъестественное даже и в такую, далеко не обычную, страшную ночь.

Вот уже почти два года с нетерпением ждали они встречи с чудом: с Калашником, с настоящим подпольщиком из "Молнии", с рейдовым отрядом Наумова, который, был слух, прошел поблизости где-то в марте, с советским разведчиком-парашютистом, с каким-то загадочным самолетом "оттуда"...

Ждали они долго, упорно, терпеливо, хотя терпение их уже иссякало и в конце концов начало лопаться...

И вот... именно тогда, когда они меньше всего ожидали этого, когда вовсе и не думали об этом, озабоченные делами более земными, значительно более сложными и опасными, чем те, которые возникали в их героических детских мечтах, чудо свершилось!

Хлопцы даже растерялись, не зная, как к этому отнестись, с чего начинать и что же делать с этим долгожданным "чудом", которое объявилось вот здесь, в зарослях орешника, клена и шиповника, в зарослях бывшей Карапышевой левады, всего в каких-нибудь двух-трех десятках шагов от них!

К чести "великих конспираторов" из седьмого "А", следует сказать, что свое "чудо" они заработали честно.

И не только терпеливым, почти двухлетним ожиданием.

Нет, потому что ждали они активно, желая встретить его не с пустыми руками.

Горячее желание "чуда" и вместе с тем желание действовать появилось у них давно, у всех троих сразу, еще в ноябре сорок первого на терногородской дороге.

По этой дороге, осенней, болотистой, как раз на Октябрьские праздники немцы куда-то перегоняли пленных из Терногородского концлагеря. Быть может, в Новые Байраки, быть

может, еще куда... А они втроем стояли в толпе женщин возле мостика в Жабове. Пришли туда за пять километров, чтобы передать хотя бы узелок сухарей голодным, а может, и спасти кого-нибудь из своих или "чужих", все равно... Одним словом, мало ли что могло случиться! Ведь отцы и Марка и Тимка с самого начала войны служили в Красной Армии, где-то, может, неподалеку воевали...

Своих отцов среди пленных они, к счастью, не встретили, а сухарей голодным так и не смогли передать.

Вместо этого хлопцы увидели такое, чего не забудут всю свою жизнь, о чем люди потом с ужасом будут рассказывать друг другу по всей области...

Они собственными глазами увидели, как гитлеровский фельдфебель убил человека. Пристрелил в упор, в спину, обессилевшего красноармейца...

Пристрелил и, как потом выяснилось, еще живого столкнул с мостика в речку сапогами и прикладом винтовки... Через несколько минут красноармеец вдруг поднялся из воды, ловя руками воздух, ища, за что бы ухватиться. И фельдфебель опять стрелял и не мог попасть, а потом подбежал к берегу и бил красноармейца по рукам и по голове прикладом...

Именно в ту минуту мальчишки почувствовали: произошло что-то невероятное, и не только тут, на жабовском мостике. Почувствовали, что так вот просто, как до сих пор, ни они, ни кто другой жить уже не смогут...

Что жизнь вдруг перевернулась, стала невыносимой и что они сразу, в один лишь миг стали взрослыми. И должны что-то делать, что определило бы теперь их новое место в жизни, оправдало бы их существование в этом мире...

Было им тогда, если разделить поровну, по тринадцать лет. Только самому щуплому - Аполлону Стрехе - перевалило уже три месяца на четырнадцатый. Высокому круглолицему Тимку Цвиркуну исполнилось ровно тринадцать, а Марко Окунь не дотянул до "юбилея"

около трех месяцев.

Жили они по-соседски в одном конце Солдатского поселка. Все трое единственные сыновья. Аполлон Стреха - без отца, Тимко Цвиркун - без матери. И лишь у Марка Окуня до самого начала войны были и отец, и мама, и даже две бабушки.

Аполлон своего отца не помнил. Был батька командиром-пограничником. И погиб где-то на границе в стычке с бандой, когда сыну не было еще трех лет. Мать после этого возвратилась в родное село. Работала в аптеке.

Сына любила без меры. И это опостылевшее мальчику,

необычное в селе имя Аполлон дала ему именно она.

Мать Тимка умерла в больнице во время тяжелой операции за два года до войны. Отец его - тракторист, так же как и отец Марка. Оба пошли в Красную Армию еще в июне сорок первого года. И теперь Марко и Аполлон жили при матерях, а Тимко - при старенькой бабушке.

В школу их отвели вместе. С первого же дня они и там соседски устроились все трое на одной скамье.

И учительница Людмила Потаповна так и не смогла их рассадить... Держались все время своей группкой, обособленно, за что уже в четвертом классе приклеили им прозвище "великие конспираторы".

Весной сорок первого все трое перешли в седьмой класс. Но учиться дальше им уже не довелось. И кто знает, доведется ли вообще.

Сразу же после той страшной сцены у жабовского моста появилась надежда на желанное "чудо". Появилась уверенность, что вскоре в их жизни что-то изменится. Они найдут нужных людей, которым будут помогать, вместе с которыми будут бороться с оккупантами.

Как-то в декабре Аполлон Стреха принес и показал друзьям листовку: "Товарищи, не верьте лживой фашистской пропаганде!.." Подпись под листовкой была странная и чуточку загадочная: "Молния". А из самого содержания можно было догадаться, что выпустил листовку кто-то здешний, что действует в их местах какая-то "Молния". И что, ежели по-настоящему захотеть, можно эту "Молнию" разыскать.

Хлопцы стали настойчиво готовиться к встрече и упорно разыскивать тропинки к "Молнии". Зимой в бывшем помещении сельского Совета, от которого остались одни обгоревшие стены, они обнаружили в завале и потом перепрятали в более надежное место четыре ведра винтовочных патронов и целехонькую пулеметную ленту.

Позднее добыли еще две гранаты - "лимонки" с детонаторами, ящик взрывчатки, похожей на мыло, и даже пистолет ТТ. Его они выкрали на той же терногородской дороге у смертельно пьяного жабовского полицая, который уснул в кювете.

Однако шли дни, недели, месяцы. Промелькнул год, а "Молния" так и оставалась для них недостижимой.

Такая досада! Если бы ее не было! А то ведь действовала! Безусловно действовала! Ведь в последнее время, точно так же, как в сорок первом о Калашнике, только и говорят повсюду о "Молнии" да о ее делах!.. А вот ребятам почему-то никто из этой "Молнии" не встретился. Не хотят связываться? Обходят? Быть

может, даже остерегаются? Но почему же? Потому, что Аполлонова мама работает в аптеке?.. Как-никак, а теперь и аптека словно бы немецкая и для немцев! Кто его знает!

А время, хотя и невыносимо медленно, все же шло себе да шло. Дожили наконец и до великой победы под Сталинградом. И хотя ребята нигде не могли об этом прочесть, все-таки слух о радостном событии докатился и до них. Невидимой, но могучей волной прокатился этот слух по всей оккупированной земле. Стало быть, скорее уже можно было надеяться на встречу с Красной Армией, чем на какое-либо другое "чудо" - на "Молнию", разведчиков или подпольщиков.

А все-таки хлопцы надежды не теряли.

Жили незаметно, как и все. Хлопотали дома на огородах, помогая матерям и бабушке, выходили работать на "общественное хозяйство", унося оттуда с немалым риском все, что под руку попадется: зерно - так зерно, а нет зерна, то подсолнух, кукурузу. Если не было и этого, хоть немного свеклы. С особенной старательностью разыскивали и собирали на зиму скупое степное топливо.

Однажды, насыпав песок в подшипники, вывели из строя комбайн. Потом, когда гитлеровцы вывозили зерно на станцию, прокололи камеры у трех машин. А как-то ночью, перед тем как должны были угонять в Германию очередную группу девочек и парней, обошли до утра все хозяйства, все дворы и ото всех, какие были, телег пооткручивали с колес и припрятали гайки...

Молодежь собирали и отправляли в Германию уже не раз и не два. И вот совершенно незаметно дошла очередь и до них. Никто этого не ожидал, когда вдруг забегали по дворам полицаи, приказывая второго августа собираться в сельуправе всем шестнадцати- и пятнадцатилетним. Правда, был это уже не сорок первый, и не сорок второй, и даже не начало сорок третьего года, поэтому в срок не явилась в сельуправу ни одна живая душа. На следующий день после повторных угроз пришло в разное время человек десять. Покрутились, повертелись, а тут и вечер наступил. Куда же на ночь глядя? На третий день к обеду согнали к сельуправе уже порядочно ребят. С мамами, бабушками и дедушками.

И с котомками. Даже несколько подвод уже подъехало.

Стоял на выгоне напротив бывшей церкви шум, плач, крики. Вертелись полицаи, с кем-то переругивался староста: оказывается, с лошадьми была неувязка. Суетились, хлопотали до самого вечера, и снова никто никуда не выехал. Еще и потому, что теперь, в августе сорок третьего, и полицаи, и староста пошел не тот. Теперь старосты и полицаи были напутанными и

растерянными.

И никого никуда, как это было раньше, не торопили. Да и сами не торопились.

На четвертый день налетел в Солдатский поселок сам шеф районного жандармского поста из Новых Байраков Бухман. Прихватил с собой нескольких немцев и свору свеженьких, бежавших из-за Днепра полицаев. Сразу же "закрутил" все гайки, пригрозил кому расстрелом, а кому виселицей, некоторых избил. Навел, одним словом, порядок. Всех детей, которых успели согнать, закрыл на замок в сельуправе. Вместе с ними загнал туда же и коекого из родителей, которые успели своих ребят припрятать, и только под вечер вскочил в машину и помчался назад, в Новые Байраки. Отъехал недалеко, каких-нибудь два-три километра за Жабозо, и... неожиданно уже в сумерках возвратился в Солдатский поселок. Вихрем ворвался в тихое, никем не предупрежденное село. Полицаи и гитлеровцы окружили весь центр, вытолкали, выгнали из домов всех, кто в чем был, и тогда Бухман приказал своим поджигать дома.

Улица, подожженная сразу в нескольких местах, запылала. А смертельно напуганные люди, окруженные полицаями, сбились у колодца, недоумевая, за что на них такая напасть, почему так беснуются оккупанты.

Знали об этом, по крайней мере в первый час после облавы, изо всего села только трое: Аполлон Стреха, Тимко Цвиркун и Марко Окунь.

Что очередь может дойти и до них, если не подоспеет к тому времени Красная Армия, хлопцы, конечно, допускали. Однако о том, чтобы их угнали в Германию, не могло быть и речи. А чтобы они оказались хитрей, нужно было подготовиться и встретить опасность во всеоружии.

Главным у них во всем был самый маленький ростом, неказистый Аполлон Стреха. Он и внес очень уместное предложение - окопаться, соорудить такое тайное укрытие, чтобы их днем с огнем никто не нашел. Ну, а место подходящее разыскали уже сообща. Подошла для тайника бывшая Карапышева левада, крутой, некогда засаженный редким дубняком и кленами косогор над речушкой. Дубы и клены давным-давно, еще до войны, украдкой и на скорую руку были вырублены. Остались высокие почерневшие пни и обломанные скотиной кусты.

Обыкновенная непригодная для пахоты земля, "неудобь", до черноты выбитый скотом выпас, который теперь уже называли просто тырлом, совсем забыв, что когда-то был он, особенно там, внизу у речушки, возле глубокого оврага, и в самом деле зеленой

левадой. Овраг, узкий и глубокий, размытый тальными водами, быть может, за многие сотни лет, делил леваду надвое. Снизу, от речушки, переходя с бугра на бугор, окаймлял ее вырытый в сорок первом противотанковый ров.

Копать свое укрытие хлопцы решили именно в этом овраге, в нескольких метрах от крутого обрыва. Как раз среди кустов шиповника, в зарослях чертополоха и полыни. Копали по ночам, когда в эти пустынные места не то что гитлеровца, и собаку калачом не заманишь. Копали не торопясь, наперед зная, что осуществить задуманное будет нелегко. Поклявшись страшной клятвой никому никогда не выдавать своей тайны, копали с начала мая и чуть ли не до середины июля. Сначала - небольшой колодец, вглубь метров на шесть. На дне этот колодец расширили, сделали более просторным и начали долбить узенький лаз в сторону, к обрыву.

Копать, лежа на животе в тесной штольне, не имея возможности повернуться, мог лишь один человек. Они сменяли друг друга. Пока один долбил твердую глину, орудия коротенькой саперной лопатой, двое других вытаскивали землю ведрами и рассыпали в противотанковом рву... Продвигалось дело крайне медленно.

К тому же копать имели возможность не каждую ночь. Случалось, работали только двое, а иногда и ктонибудь один. И все же незаметно дело подвигалось...

Колодец углублялся быстрее, рыть его было все удобнее. Боковая штольня в твердой, спресованной глине особенно трудно поддавалась.

Иногда бывали такие минуты, когда Марко или Тимко теряли терпение. Только Аполлон с настойчивостью и упорством, которые ни разу не изменили ему, не отступал.

- Как хотите, - говорил он товарищам в трудные минуты. - Бросите, все равно буду рыть один!

Штольню - боковой выход из колодца к обрыву - до самого конца не докопали. Старательно измерив, оставили слой глины с полметра толщиной. В случае необходимости его можно было пробить несколькими ударами лопаты и незаметно выбраться в овраг через узенькое отверстие. Верхний лаз колодца маскировали дерном в старой деревянной бадье. Бадью "утопили"

вровень с землей. Дерн в ней время от времени поливали, чтобы трава ничем не отличалась от окружающей.

Потом, когда закончили возню с колодцем и штольней и начали расширять подземную пещеру, дело пошло веселее. В июле просторная, с широким лежаком-завалинкой вдоль стены пещера была уже вполне закончена.

В ней могли стоять почти во весь рост, сидеть и лежать несколько человек. Закончив рытье подземелья, хлопцы перенесли туда набитые соломой мешки, старые дерюжки, две бутылки растительного масла, каганец, все наличное оружие и уже более или менее спокойно ожидали дальнейших событий.

Во избежание риска Аполлон приказал товарищам всегда иметь при себе тертый табак.

- А это еще зачем? - удивился недогадливый Марко, зная, что никто из его товарищей еще не брал сигарки в рот.

- Голова! - презрительно процедил сквозь зубы Аполлон. - А про собак забыл? Посыпь каждый раз здесь вот, вокруг ямы, ни одна тебе овчарка след не возьмет!..

...Но перед этим была еще история с миной, с небольшой магнитной миной с часовым механизмом.

Несколько ящиков таких мин везли на машине на фронт трое молодых гитлеровских солдат. Заночевали в Солдатском поселке у близких соседей Аполлона Вергунов, напротив, через улицу. Остановились они там еще засветло. Вели себя более или менее пристойно. Хотя и пристрелили последнюю на подворье у Вергунов курицу, но потом навязывали все же старой Вергунихе свои не "ост", а настоящие рейхсмарки и целых два куса мыла. От денег Вергуниха отказалась, а мыло, поколебавшись, взяла.

Немцы приказали тогда старухе достать еще и шнапс - самогон, а курицу зажарить.

Шнапс откуда-то принес немцам двенадцатилетний Вергунгшш внук Микола. Оказалось сразу же, что этого шнапса завоевателям мало. Выпив его, они снова достали из машины, сбросив на траву какие-то ящики, мыло и снова послали хлопца за шнапсом.

Выпили прямо во дворе, сидя на деревянных ящиках.

Громко разговаривали, быстро пьянея, пытались заводить песни, на всю улицу хохотали.

Уже перед заходом солнца к Аполлону забежал Тимко, и они, присмотревшись к этим немцам, решили на всякий случай подойти поближе. Ведь можно услышать или увидеть что-нибудь интересное, нужное!

Опьяневшие немцы встретили "кляйн польшевик партизан", как они говорили, весьма приветливо. Хохотали, хвастались, кого-то бранили, предлагали мальчикам сигареты к шнапс и все допытывались о каких-то "гут русише фройляйн"... Так и не объяснившись с "туземцами", ржали еще громче. Потом тыкали хлопцам под нос мыло. Белое и непривычно зернистое, будто из глины.

А один, со шрамом через всю щеку, тот, который более

твердо держался на ногах, достал из ящика, на котором сидел, какой-то металлический предмет.

- Пиф-паф! - ткнул Тимку под нос и расхохотался на все подворье. - Рус Иван бу-бу-бух!

Тимко отпрянул и тел: еще больше развеселил немцев. Аполлон же, сразу сообразив, что это мина, начал присматриваться к ней внимательнее. Немцу это почемуто неожиданно понравилось, и он принялся даже рассказывать, где тут что следует подкрутить и как эту мину устанавливать. Объяснений его Аполлон почти совсем не понял, а вот что это за мина, скумекал. Тем более что слышал уже о таких минах и раньше.

Немец поиграл с миной и потом, когда игра эта ему надоела, сунул куда-то позади себя за ящик...

Когда немцы, переночевав, на рассвете тронулись дальше, одной мины (если бы захотели проверить) они не досчитались бы. Возвращаясь домой от Вергунов, ее прихватил с собой на всякий случай Аполлон. Прихватил просто так, на всякий случай. Прихватил потому, что "плохо лежала", не зная еще, не думая наперед, зачем она ему и что он с нею будет делать. Спрятал в лопухах под каменным фундаментом аптечного домика. И некоторое время о ней и не вспоминал.

...В тот день, когда налетел на село новобайрацкип жандарм, Аполлонова мама посоветовала ему немедленно скрыться с глаз, пока все затихнет.

Невысокая, сухощавая, с большими грустными темными глазами на бледном лице, она была болезненной.

А в тот момент, когда стояла на крыльце, запирая на замок аптеку, показалась сыну какой-то особенно бледной и утомленной.

У Аполлона даже сердце непривычно сжалось от жалости к маме. Но он, конечно, и виду не подал.

А мама постояла на крыльце, прислушалась к шуму на улице и потом словно бы между прочим сказала:

- Если бы не жандармы, "наши" тут ни за что вас теперь трогать не посмели бы. Посуетились бы вот так некоторое время, да все и затихло бы... Красная Армия, говорят, уже к Днепру подходит...

И именно тогда Аполлон вдруг вспомнил о своей мине...

Мамин совет он выполнил лишь наполовину. На глаза никому не попадался. Но из села никуда не ушел. Все слонялся за заборами, по садам и огородам, поблизости от подворья сельского старосты... А в удобный момент, когда жандарм со всеми своими немцами, умаявшись наконец, зашел к старосте на

поздний обед, Аполлон быстро сунул мину в его автомобиль, прямо к шоферу под сиденье...

Взрыв хотя и произошел, да пострадал не жандарм, а всего только шофер, как потом выяснилось. А Бухман лишь рассвирепел пуще прежнего.

И теперь вот, среди тихой ночи, захваченное врасплох, его родное село, его Солдатский поселок, вспыхнуло, взорвалось огнем и горит, как сухая щепка. И неизвестно еще, что с людьми будет...

Они - Марко, Тимко и Аполлон - все трое, как всегда, начеку, выскочили из села легко и беспрепятственно. Сидят теперь на пригорке под шиповником рядом со своим надежным укрытием. Сидят, еще не зная толком, что же там случилось. Почему уцелел жандарм?

Чем же это закончится? И как бы лучше обо всем разведать? Сидят, тревожатся за родных, ничего еще не зная об убитом шофере, вовсе и не подозревая, что о сожженной жандармской машине мгновенными кругами, будто волны по воде, расходятся всякие слухи и догадки. И что люди, все до одного, кто только узнал об этом, поступок Аполлона приписывают "Молнии". Той самой "Молнии", встречи с которой хлопцы так долго ждут, будто счастья какого пли чуда! Ждут, даже и не подозревая, что сами уже становятся легендой и чудом...

И что вообще "чудо", которого они так ждали, уже здесь, с ними, совсем рядом, расцветает над головами в ночном звездном небе белым колокольчиком гигантского ландыша.

Лунная августовская ночь в степи. Глухая степная балка. Вокруг - полно немцев и полицаев. Фронт, вероятно, за тысячу километров отсюда. Гитлеровцы подожгли твое село. Сам ты, спасаясь от неволи, а то и от смерти, притаился на гребне косогора, под ненадежными редкими кустами.

Ночь. Безлюдье. Тишина, звездное небо. И вдруг в этом звездном небе, прямо у тебя над головой, раскрытый парашют! Откуда? Как? Ведь перед тем пи малейшего звука, даже намек на шум самолета! Или, быть может, им было просто не до того?.. Но как бы там ни было, видение это потрясло хлопцев своей невероятностью, неожиданностью.

Первым заметил в небе раскрытый парашют Аполлон Стреха. Он даже глазам своим не поверил. Только подумал испуганно: "Что это со мною?! Задремал или спятил?" Быстро-быстро замигал глазами, но видение не исчезло. Попытался заговорить, но, как это бывает в кошмарном сне, горло ему сдавило, а губы стали сухими и непослушными. Он только и смог, что расставить

остренькие локти (сидел посредине) и слегка, осторожно, будто за ним мог наблюдать кто-то невидимый, толкнул товарищей. Цвиркун и Окунь, неизвестно почему, правильно поняли этот жест, подняли глаза к небу. И сразу же заприметили то, что первым увидел Аполлон. Инстинктивно теснее прижались друг к другу и втянули головы в плечи.

Парашют с темным пятном под белым куполом стремительно и неудержимо летел прямо на них. А они, как замороженные, сидели неподвижно и оцепенело. Они были так потрясены, что, вероятно, продолжали бы сидеть на месте, даже если бы парашют и в самом деле шлепнулся прямехонько им на головы... Лишь после того, как между ними и луной промелькнула темная тень, все трое, словно по команде, зажмурились...

В лицо дохнуло легким ветерком. Прошелестели, будто спросонок, кусты неподалеку. Что-то тяжело, глухо ударилось о землю и... все вокруг снова замерло, затихло.

Веря и не веря, Аполлон робко раскрывает глаза, осторожно осматривается по сторонам... Лица товарищей в лунном свете непривычно бледные, чуточку даже зеленоватые. Глаза расширены, и в них тревожные искорки.

Тишина. Степь. Чистое, звездное небо. Будто минутой раньше вовсе ничего не случилось. Но ведь что-то все-таки было: шум, ветерок, шелест! Подавляя острый холодок испуга и неуверенности, все трое одновременно искоса смотрят в сторону, осторожно направляя взгляд вниз.

Смотрят, боясь натолкнуться на что-то страшное. Видят все те же привычные, замершие кусты. Только на кустах, на их черной поверхности, застыло невероятно белое волнистое пятно.

Между тем первым, потрясающим, и следующим мгновением, когда (по крайней мере, так им показалось)

шевельнулся край белого полотнища, прошла, кажется, целая жизнь. Полотнище шевельнулось бесшумно, одним краешком, и снова замерло.

Они сидели еще довольно долго. Снизу, из кустов, донесся пронзивший их еле слышный, скорее угаданный, чем услышанный, вздох-стон...

- Хлопцы, а что... - сказал Аполлон робко, дернув правым плечом, будто сбрасывая с себя оцепенение.

- ...если там наш! - закончил за него Марко тоже еле слышным шепотом.

- А кто же еще! - вдруг, будто его разбудил этот шепот, встрепенулся и Тимко.

- Может, человек там сильно ударился или... - произнес Марко.

- ...получил ранение и нуждается в помощи, - закончил Тимко.

- А мы тут!.. - резко, уверенно, как будто это и не он сидел здесь в оцепенении еще минуту назад, вскочил на ноги Аполлон.

Из-под ноги у него сорвался комок сухой земли.

Совсем маленький. Сорвался и зашуршал по косогору в сухом бурьяне. В другой раз, возможно, никто бы этого и не услышал, но теперь, в напряженной и таинственной тишине, звук этот прогремел настоящим громом...

Услышав этот неожиданный шорох, Парфен Замковой, понимая, что он с парашютом все равно виден отовсюду, громко предупреждает:

- Не подходить! Стрелять буду.

Шорох обрывается, затихает и больше не повторяется.

Парфен, держа пистолет в руке, минуту выжидает, закусив губу, пересиливая боль. Не дождавшись отклика на свое предупреждение, допуская, что шорох, быть может, исходит вовсе не от человека, на всякий случай еще раз произносит твердым и на редкость ровным голосом:

- ...Почему ты прячешься? Я знаю, что здесь кто-то есть! Кто?!

И, к величайшему своему удивлению, сразу же слышит в ответ:

- Дядя, не стреляйте, это мы!

Голос мальчишеский, ломкий, но страха в нем вроде бы нет, только волнение. Кажется, даже радость. Вот так оказия! Не хватало сейчас только детей! Откуда они здесь взялись? Или, вернее, куда это он так неудачно (а гложет, и удачно?) приземлился?

- Кто же вы такие?

- Стреха, Цвиркун и Окунь! - поспешно, как когда-то в школе, отвечает Аполлон.

- Гм... - довольно растерянно резюмирует Парфен, не зная, как ему с этими цвиркунами [Цвиркун - сверчок (укр.)] быть дальше. - А сколько же вас? - спрашивает просто так, лишь бы выиграть время.

- Да трое же!.. - удивленно отвечает все тот же голос.

- Гм... тогда так... тогда двое стоят на месте, а один - ко мне! - уже по-военному приказывает Парфен. - Только не вздумайте чего-нибудь!.. Я вас вижу, шутить не буду... Ежели что, не успеете и "мама"

сказать.

- Да вы ничего не думайте, мы свои!

- А чего ж тут думать! Давай сюда.

- Сейчас я! - После этого приглушенный короткий шепот и

снова громко: Иду!.. Только вы не стреляйте!

Руки у меня пустые. Вот! Смотрите сами.

Парфен, конечно, ничего не видит. Он слышит только голос мальчика, шепот, опять голос, а потом шелест.

Щуплый, низенький мальчик с острым носиком быстро выныривает из-за куста. Останавливается в двухтрех шагах, освещенный луной. Руки протянул ладонями вперед. В узких темных штанишках, рубашка заправлена за пояс, на голове круглая кепчонка, и из-под нее прядями давно, видно, не подстригавшиеся волосы.

Какое-то мгновение молча, внимательно он рассматривает незнакомого человека, который упал к ним прямо с неба. Потом, удовлетворив первое любопытство, тихо спрашивает:

- Вы, дядя, с самолета?

- С самолета, конечно... Можешь теперь руки опустить.

- А самолет наш?

- А чей же, ты думал?

- Ну...

- Вот тебе и "ну"! Зачем же это прыгать сюда комунибудь другому, сам подумай.

- Оно-то так... Только мы этого самолета почему-то не услышали.

Хлопец говорит тихо, глуховато, отдельные буквы произносит чуточку шепеляво, с еле заметным присвистом.

- Не прислушивались, вот и не услышали. Высоко шел. А больше никого вы здесь не заметили?

- Нет, не видели. А разве?..

- Да... ничего... А вы почему же здесь?..

- А мы - от Германии!

- Прячетесь?

- Ну да.

- И много вас?

- Здесь? Трое пока.

- Выходит, теперь будем вчетвером. Зови товарищей, чего же... Оружие у вас есть?

- Сейчас при себе нет.

- Гм... А вообще, выходит, есть?

- Вообще, конечно. Без оружия теперь сами знаете!

Война!.. Фю-ю-ють!.. Хлопцы, сюда!

Они подходят по одному и останавливаются рядом с первым. Один чуть выше шепелявого, в пиджачке, без фуражки. Другой - долговязый, туго обтянутый тесноватым, с короткими рукавами свитером, в изношенной пилотке.

Останавливаются и тихо здороваются.

Шепелявый, подойдя первым, кажется, только сейчас понял, что человек с неба лежит неподвижно неспроста. Словно бы опомнившись, встревоженно спрашивает:

- Ас вами, дядя, что?

- Да... - по-мальчишески "дакает" Парфен. - С ногой что-то... Оступился на ваших пеньках.

- Болит или как? - мгновенно присев на корточки, склонился к его ноге шепелявый.

- Да и болит и... Кто его знает! Вывихнул, подвернул, а может, и сломал, - жалуется Парфен, вдруг почувствовав себя с этими мальчишками как с давнишними знакомыми и оттого совсем уже успокоившись. Так, будто он прыгнул в самое что ни на есть безопасное место на всей земле, чуть ли не в дом родной.

- Немедленно нужно осмотреть! Которая? - потянулся к сапогу хлопец.

- Нет, сначала парашют... Скорее парашют... Сможете вы его где-то тут хотя бы временно припрятать?

- Ого! - откликается теперь низким баском долговязый. - Еще и как припрячем! И парашют и вас, если нужно. Так припрячем, что ни одна собака не найдет!

Год будут искать и не догадаются!..

Парашют, стало быть, теперь не проблема. Да и вообще, попав после приземления к своим (пускай это всего лишь мальчики, но мальчики местные, сами прячутся от оккупантов), Парфен успокоился. Мальчики пообещали припрятать его так, что ни одна собака не найдет. А это для начала решало многое, давало простор для маневра, возможность выигрыша во времени.

Хлопцы эти, его новые друзья, ознакомят Парфена с тем, что происходит вокруг. Они станут его глазами и ушами, его разведкой. Именно они могут скорее всего услышать что-либо о его друзьях-десантниках. А там, чего только не случается, помогут напасть на след местных подпольщиков, а то и связать с партизанами из отряда имени Пархоменко. Дело теперь лишь во времени.

Не зная еще даже того, где, в каком месте он находится, Парфен уже верил твердо: дело только во времени! Нужно только как можно категоричнее предупредить хлопцев, взять с них пионерское слово, чтобы они вели себя осторожно, держали язык за зубами.

Ну и с ногой... с ногой, надо думать, тоже все будет в порядке. Обычный, хотя и очень болезненный вывих.

Надо будет разуться, туго забинтовать ее, приложить холодный компресс, и, глядишь, боль утихнет.

Однако все началось именно с ноги.

Сразу же после того, как хлопцы на скорую руку свернули парашют, Парфен попытался подняться и... не смог.

- Это здесь, совсем недалеко, - подбадривал Аполлон.

Но комиссар не мог идти. Малейшее движение отдавалось болью прямо в мозгу. И такой невыносимой, что голова шла кругом. Даже луна в небе испуганно растягивалась гармошкой и прыгала куда-то вниз!

Хлопцы попытались поддержать его под руки. Он, мол, будет передвигаться на одной ноге, опираясь на их плечи, один даже сможет поддерживать поврежденную ногу. Но сразу же, как только ребята взяли его за плечи и попытались посадить, Парфена бросило в пот, и он почувствовал, что теряет сознание...

Это было уж совсем плохо. Просто позор! Крепкий, закаленный, тренированный лейтенант ведет себя, будто какая-нибудь невзрачная барышня!

Передохнув, Парфен попросил ребят осторожно стянуть с ноги сапог. Однако довольно просторный сапог теперь словно прирос, прикипел к больной ноге.

Тогда он велел снять у него с ремня финку и разрезать голенище.

Кирзовое голенище поддавалось туго. Операция была нелегкой, болезненной. Выдержал ее Парфен, до крови закусив губу, благодаря одной лишь солдатской гордости.

Когда стянули разрезанный до твердого задника сапог, оказалось, что резать нужно еще и штанину...

Нога выше щиколотки уже заметно распухла. Острая боль не затихала ни на миг. Парфен попросил ребят взять из мешка два индивидуальных пакета и, не обращая внимания, если он будет стонать или дергаться, туго перебинтовать. Откинувшись на спину, стиснув зубы, выдержал и эту операцию. Да и хлопцы, его спасители, действовали более ловко и толково, чем он ожидал.

Аполлон, например - как-никак, а все-таки сын заведующей аптекой, знал, что в таких случаях нужно было бы применить йод и холодный компресс, но о йоде сейчас и думать было нечего, а бежать по воду далеко, понадобилось бы много времени. Обошлись прохладными листьями сочного степного подорожника.

Все это длилось довольно долго. Слишком даже долго, как показалось Парфену. Держался одной лишь мыслью, что множество людей в этой войне и даже в эту минуту испытывают куда более сильные, поистине невыносимые, по-настоящему адские муки.

"Что ни говори, - пытался он мысленно перебороть жгучую боль, - мне еще хорошо, совсем хорошо... Мне еще вон как

повезло! Мало сказать: повезло! Я простотаки, как говорится, в рубашке родился!.."

Но все же, когда мальчишки обвязали его под мышками стропами парашюта и начали спускать в темный колодец, открывшийся вдруг на ровном, заросшем сухой травой месте, Парфен надолго потерял сознание...

"Что ни говори, а мне в самом деле везет! - подумал Парфен, придя в себя и осмотревшись вокруг. - И вообще, и с этими мальчишками! Это ж только подумать!

Попасть в такую неприятность с ногой и вдруг..." Эти дети, это надежное укрытие, которое словно бы специально было приготовлено для него! Мягкая солома, одежда, пища, вода и даже лампа. Настоящая керосиновая лампа, которая вполне прилично освещает каждый угол этой пещеры и лица его новых боевых товарищей. Молодцы хлопцы! Молодцы! И теперь уже ясно, что он сможет довериться им целиком.

Парфен, казалось, совсем уже приободрился, настроение у него улучшилось, на душе снова стало надежно, появилась уверенность, что все будет хорошо: он вскоре встретит своих, и задание командования будет выполнено... От этих мыслей даже боль, казалось, чуть затихла...

Он лежал на соломе, под головой у него был мешок, тоже набитый соломой. Справа от него на глиняной завалинке сидели хлопцы. Слева светила лампа, бросая желтоватый отблеск на их совсем еще детские лица.

Самый маленький только что убрал у него со лба влажную тряпочку, поставил на лежак кружку с водой, и теперь все трое сидят молча. Внимательно, с любопытством посматривают на человека, который упал на них прямо с неба.

Оказался этот человек вовсе не дяденькой, а молодым, слишком даже молодым парнем. И это было еще значительней и интересней. При других обстоятельствах они с таким, конечно, были бы просто на "ты", а вот поди же... Парашютист, и отважный какой! Где уж там на "ты".

Парфен отпил несколько глотков, передохнул. Еще раз присмотрелся к их сосредоточенным лицам.

- Ну что же, партизаны, давайте познакомимся поближе...

Это "партизаны" хлопцам явно понравилось. Однако ни один из них и бровью не повел. Их лица так и остались замкнутыми, сурово-сосредоточенными.

- Начнем с тебя, - продолжал Парфен, обращаясь к самому высокому и, как ему казалось, самому старшему. - Тебя как зовут?

- Тимко, - низким баском прогудел высокий и добавил, сдержанно улыбнувшись: - Тимко Цвиркун.

- А тебя? - перевел взгляд на среднего, с вихрастыми, русыми, давно не стриженными волосами.

Тог вздернул редкие рыжеватые бровки, отчего личико его с большим ртом и сухими острыми скулами обрело недетски строгое выражение. Буркнул скупое, коротко:

- Марко... Окунь...

- А тебя?

Самый маленький ростом, который оказался самым старшим и носил фамилию Стреха, насупился, помолчал. Потом было открыл рот и снова крепко стиснул губы. У него, оказывается, не было переднего зуба, и поэтому некоторые слова он произносил с присвистом.

- Як тебе обращаюсь, - повторил Парфен.

- А! - дернул плечом Стреха.

- Что "а"?

- Его Аполлоном зовут, - опередил других высокий, широко и словно бы даже насмешливо улыбаясь.

- А!.. - уже по-настоящему сердито буркнул Аполлон. Чувствовалось, что имя это ему совсем не по душе, что причиняет оно ему одни лишь огорчения и что он так и не может простить этого "скверного" имени своей хорошей матери.

- Ну почему же? - успокоил его Парфен, - Имя как имя!.. Нормальное. А скажите, хлопцы, это все вы сами вырыли или помогал кто?

- Сами.

- А как же вы рыли?

- Ночами.

- А кто еще знает об этом укрытии?

- Никто. Только мы втроем.

- А долго копали?

- Да почти три месяца.

- И никто не заметил?

- Никто. Мы понемногу. И сразу же все прикрывали.

- А матерям что говорили?

- А что им говорить? Все равно целое лето ночуем то в степи, то здесь, только не дома. Чтобы, значит, в Германию не захватили внезапно.

- А почему к партизанам не ушли? - спросил Парфен, помолчав.

- К партизанам? - Аполлон даже свистнул сквозь дырочку в зубах. - Если бы мы знали, где они, эти партизаны!

- А что, нет разве партизан?

- Есть-то они есть, почему же. А вот только где...

- Откуда же вы тогда знаете, что есть?

- Ну, как же!.. Всюду только и слышно: "Молния" да "Молния"! Говорить о них говорят повсюду, а вот разыскать - не разыщешь.

- А про отряд имени Пархоменко ничего не слыхали?

Все трое приумолкли и задумались.

- Пархоменко? - переспросил Аполлон. - Нет, что-то не слыхали... Правда, никогда не слыхали...

- Ну, как же! А где Каменский лес, знаете?!

- Ле-ес? - удивился Аполлон. - Каменский?! Где же это у нас такой лес?

- Нет у нас такого леса! - добавил и Марко.

- У нас только Подлесненский, Зеленая Брама!

И там, говорят, бывали и партизаны из "Молнии".

Да вот разве еще "Круглок"? Так там и леса кот наплакал! - закончил Тимко. - Всего десятин восемь!

- Пойдите! - воскликнул Парфен. - Что-то вы не того. А ну возьмите-ка планшет, карту. И лампу давайте сюда. Ну, вот же он, Каменский лес! постучал ногтем по зеленому пятну севернее города К.

- В самом деле есть такой! - протянул Аполлон, склонив голову, чуть не касаясь острым носиком карты. - Только это вон где!..

- То есть как это "вон где"?!

- А так и есть. Километров полтора отсюда, если не больше.

- Ка-ак?! - воскликнул, поднявшись на локоть, Парфен и сразу же упал на спину от боли. - Полтора километров?! Быть того не может! А мы, по-вашему, сейчас где?

- Может, не может, - нахмурился Аполлон, - а только где же нам сейчас еще быть! Вот здесь!

И он ткнул тоненьким, с черной каймой грязи под ногтем, розовым пальцем в какую-то точку между Новыми Байраками и Терногородкой...

Долго с недоверчивым удивлением смотрел на это место ошарашенный Парфен.

"Так это же... так это же... - думал он, вспоминая огромную карту в штабной комнате и разговор у этой карты, - так это же, выходит... "Белое пятно"!"

И, обескураженный неожиданным горьким открытием, надолго умолк. После катастрофы с ногой это был второй тяжелый удар.

Парфен лежал молча, с закрытыми глазами, тяжелые думы не давали ему покоя: "Как же это так? Как могло случиться такое? И что же теперь делать?" Если бы не нога, он мог бы как-то выйти из положения и сориентироваться. А так?

Выходит, их выбросили вовсе не туда, куда нужно, а прямо в самый центр неразведанного "Белого пятна".

Да еще и рассеяли бог весть на сколько километров друг от друга. Именно потому и не оказалось тут поблизости никого из своих... Все они, конечно, здоровы. Не каждому же ноги ломать! Каждый в свое время сориентируется и, поняв что к чему, примет единственно правильное решение, станет пробиваться к Каменскому лесу... А он?

Он, выходит, так вот и останется, если с ногой что-нибудь серьезное, с этими мальчиками. Не сможет в первое время и весточки своим подать. Единственная надежда - на мальчишек, на то, что рано или поздно, а свяжут они его с кем-нибудь из здешних подпольщиков.

А тогда работа для него обязательно найдется. Ведь теперь у каждого честного человека работа одна и самая главная... И хватает эгой работы всюду, где бы ты ни оказался. Связывайся со своими людьми, организуй и действуй!..

- Хлопцы! Послушайте, хлопцы! Стало быть, выходит, что придется вам, друзья, постараться, поработать...

Дело очень срочное...

Ребята с готовностью ждали его распоряжений.

- Нужно, хлопцы, на люди, в разведку. Послушать, присмотреться, разузнать. Обязательно нужно разыскать хотя бы одного нашего парашютиста. Ну и, конечно, хоть кого-нибудь из этой, как вы говорите, "Молнии"...

- Гм... - задумался Аполлон.

- Конечно же будем искать, - расширявает Марко.

- День и ночь будем! - прибавляет и Тимко.

- И "Молнию", - продолжает Аполлон. - Будем искать и "Молнию". Мы ее вот уже второй год разыскиваем... Будем искать дальше... Но...

Располагая настоящей большой тайной и чувствуя свою ответственность, хлопцы теперь не решались выходить из укрытия днем. Сидели в пещере, изнывали от безделья в темноте, так как лампа пожирала много воздуха и керосина. Ухаживали за больным, кормили, поили, сменяли на ноге холодные компрессы. Перебивая друг друга, поведали со всеми возможными подробностями о том, как хотели угнать их в Германию, как подложил Аполлон новобайрацкому жандарму мину и как тот возвратился в Солдатский поселок, живой и невредимый, не раненный даже, и сжег их село.

Они рассказывали, а Парфена грызла досада. Беспокоился, тревожился за судьбу этих неизвестных ему людей из незнакомого села, с которыми, быть может, уже расправились гитлеровцы.

А притихшая было боль в ноге снова вспыхнула. Не помогали и компрессы. К ноге нельзя было даже прикоснуться, не то что вытянуть, как это часто делали при вывихе. А вдруг это не просто вывих, а перелом?!

Как только в степи начало темнеть, Аполлон и Тимко отправились в разведку. С Парфеном остался Марко.

Только сидел он теперь главным образом не в укрытии, а вверху, под шиповником, возле открытого входа.

Ночью Парфен не сомкнул глаз. Мучили неизвестность, необычность положения, не давала уснуть нога.

Да и нетерпение донимало. Думал: что принесут ему хлопцы из разведки?

Ребята вернулись уже под утро. Утомленные, но довольные. Принесли буханку хлеба, корзинку помидоров, чувшин простокваши и сумку яблок и груш.

Парфену было не до еды. Его то знобило, то бросало в жар. Потом снова начинало лихорадить, и он натягивал на себя все, что только было в пещере, прикрываясь сверху еще и парашютом.

Новостей у ребят было немного, и радости особой разведка не принесла. Всего-навсего один только слухок о том, что где-то на порядочном от этого места расстоянии немцы наткнулись на советский парашют... Подробности неизвестны. Вот и все!

А в Солдатском поселке вроде бы затихло. Улица догорела. Людей, продержав до утра возле колодца, "просеяли", отобрали десяток помоложе, а остальных распустили. Отобранных, говорят, погнали в райцентр и держат в тюрьме при полиции. Запертые же

в сельуправе ребятишки выбрались ночью через чердак и разбежались кто куда. Их никто уже почему-то и не разыскивал...

По всему было видно, что оккупационная власть на глазах распадается. Полициям и разным старостам уже не до ребят. Не появлялся больше в селе и жандарм. Не хватало у него рук, не хватало сил. Вероятно, были более важные дела в других местах. Все вокруг взбудоражил слух о советских парашютистах. Стало быть, жандарм должен был готовить, снаряжать и выводить в степь облаву. Пронесся новый слух о каком-то советском десантном батальоне...

За ночь состояние ноги значительно ухудшилось. Не было и намека на то, что опухоль спадет и боль затихнет. Наоборот, нога подозрительно одеревенела, покрылась сизовато-черным налетом, и опухоль начала подбираться к колену. Усиливался жар. Парфен все время был словно в каком-то тумане, в полубреду. Окружающее воспринимал как сквозь густую сетку. В голове гудело.

Порой начинало невыносимо звенеть в ушах...

Новости же от хлопцев поступали малоутешительные.

В районах вокруг проводились широкие полицейские облавы. Гитлеровцы напуганы и потому хватают каждого, кажущегося им подозрительным... Возле села Жабова (это почти рядом) найден еще один парашют. По всем селам объявлено о вознаграждении тому, кто задержит, убьет советского партизана-парашютиста или хотя бы укажет его местонахождение. И как завершающий удар - потрясающая весть о том, что новобайрацкий староста Макогон задержал и выдал жандармам сразу двух советских парашютистов...

Получалось так, что не только с ним, но и со всем десантом, на который возлагалось столько надежд, творилось что-то неладное.

А он, комиссар десанта, лежал в пещере. И не мог хоть чем-нибудь помочь ни товарищам, ни самому себе.

Правда, у него были его хлопцы. Они его оберегали, поддерживали, кормили и даже пытались как-то лечить.

И все же в главном, в самом важном, вот уже третий день не могли помочь ничем.

Боль в ноге с каждым часом все нарастала и нарастала. Парфен явно начал ослабевать. Все реже возникали промежутки, когда он мог трезво размышлять, четко воспринимать окружающее. Все чаще впадал в беспамятство, погружаясь в какой-то жаркий, удушливый туман, утрачивая ощущение реального, начинал бредить.

Бред причудливо переплетался с действительностью, с

окружающим. Мечась в жару, он все настойчивее просил, даже приказывал ребятам разыскать парашютистов, отвести его к Сорочьему озеру, призвать на помощь "чМолнию".

Приходя в сознание, покрывался потом, пил воду, спрашивал, нет ли чего нового, а потом снова начинал метаться и говорить что-то такое страстно-настойчивое и путаное, что у хлопцев даже мороз по коже пробегал.

В бреду проходили перед ним события реальные и фантастические. Одни видения посещали его лишь раз и исчезали навсегда, другие повторялись. Часто грезилось ему, будто он летает, широко раскинув руки, свободно и плавно парит высоко в темном, очень синем небе. Под ним широкий, ярко-зеленый простор, вверху - синева неба, он чувствует себя сильным, на душе от ощущения свободного полета восторг и радость.

Особенно мучительно было одно видение. Он, Парфен, карабкается, цепляясь пальцами, ногтями, на обрывистую, крутую скалу. Под ним страшная бездна. Он обязательно должен взобраться по этой почти отвесной стене на далекую вершину. Должен... ибо иначе - смерть... И он карабкается изо всех сил. Знает: единственное спасение - взобраться наверх. Но знает также, что не сможет. Изнемогая от страха, он карабкается, вгрызаясь ногтями в гранит... Страшный миг надвигается неумолимо, руки слабеют, тело начинает сползать вниз... И все же не срывается, не проваливается в бездну, лишь кричит, пугая ребят, и приходит в сознание... Лежит весь в поту, измученный. И сердце в груди стучит так, будто вот-вот разорвется на части...

В бреду над ним однажды склонилась мать. Что-то ему говорила, но он, как ни напрягал слух, ни одного слова не разобрал... В другой раз он видел себя правофланговым в первом взводе студенческого батальона, под Черкассами, в лагерях. Шел мимо высокой трибуны.

На трибуне стоял, принимая парад, сам комкор. Парфен шагал легко, с радостным ощущением праздничности парада, красоты слаженного строя. Он, Парфен, хоть и некадровый военный, любил четкий солдатский строй, марши. Любил летние армейские лагеря, вообще службу армейскую.

Вот и сейчас... Шагая в колонне, он смотрит на невысокого комкора, который поднимает руку к козырьку, готовясь приветствовать их. Но именно в этот миг нога Парфена становится вдруг тяжелой, он сбивается с шага и с ужасом видит, что он, лучший курсант батальона, ломает строй, нарушает торжественность момента...

Парад в Черкассах сменяется маршем по заснеженной улице приволжского города, в котором после Сталинградской битвы и

первого ранения Парфен учился на ускоренных курсах среднего комсостава.

А потом он видит себя в блиндаже, в котором его принимали в партию перед боем... Вместо партбилета кто-то дает ему в руки старую отцовскую буденовку. Зеленая, с большой красной звездой, она всегда висела после смерти отца в маминой комнатке над черными выгнутыми ножнами именной - за взятие Перекопа - сабли...

На четвертый день подземной жизни "человеку с неба" становится еще хуже. Он быстро-быстро говорит что-то неразборчивое, потом хрипло, страшно вскрикивает и отчужденно смотрит на Аполлона безумными покрасневшими глазами.

Аполлону боязно. И Тимку и Марку боязно и жутко.

Теперь хлопцы теряются, не зная, как вести себя, с кем посоветоваться. Опасность с каждой минутой становится все более грозной. Может стать и смертельной. К кому же обратиться за помощью, кому открыть такую великую тайну, доверить такую драгоценную жизнь? Вот если бы у них, хотя бы у кого-нибудь, был отец или старший брат! Или кто-нибудь близкий из учителей!.. А так..

Одна бабушка и две мамы. Зачем втягивать этих беспомощных и без того растерянных женщин в такие опасные и важные дела? Да и что они смогут?

Хотя, правда, одна из этих мам - а именно мама Аполлона - как-никак аптекарь, фармацевт. Все же какая-то медицина. Но... не лежит, совсем не лежит душа у Аполлона к тому, чтобы впутывать в такое дело еще и маму. И не потому, что он боится выдать ей свою тайну, Нет! А все-таки... И слабенькая она у него, какая-то болезненная... К тому же, если правду сказать, далекая от всего этого. Если и вовсе не равнодушная. Только и знает: "Берегись, не лезь куда голова не влазит, и без тебя вода освятится! Осторожно, ежели что, так и знай, не переживу я!"

Если бы она была просто колхозницей, как вот у Марка! А то жена командира Красной Армии, да еще и пограничника, женщина с образованием! А вот фотографии отца зачем-то недавно убрала со стены и неизвестно куда девала! Может, спрятала, а может, и... Это одно. А вот другое: то, что мама хотя и не совсем на немцев, но все же при немцах работает, Аполлону совсем не нравится!

Он давно простил бы ей даже опостылевшее свое имя, если бы мама не якшалась с плюгавым врачом из Паланки, который, где только не появится, сразу же заводит одну и ту же песню: о еде, о сале, о масле.

И терногородский Роман Шульга, который иногда

наведывается в аптеку, тоже ему не очень нравится. Здоровый такой, как бык! Нарочно, видать, прихрамывает.

Прикидывается. Остался здесь, в МТС, работает на немцев и даже не стыдится! Да еще этот случай с немцами новобайрацкими... Надо же ей было яйца в селе покупать, чтобы у немцев на какие-то никому не нужные лекарства выменивать! Грех ему, конечно, свою мамку осуждать - любит он ее и жалеет. Чтоб не расстраивать ее еще больше, не скажет он ей о больном парашютисте.

Нет, не скажет. Они еще немножко подождут и, может, все-таки что-нибудь придумают.

Но ждать дольше некуда.

Хлопцы не такие уже маленькие и неопытные, чтобы не понимать, чем все это может закончиться.

В пещере мечется в жару и бредит их парашютист.

Вверху, поджав ноги и положив подбородок на колени, молчит, думает тяжелую думу Аполлон Стреха. Заводила Аполлон, который не привык молчать, который всегда все решает первым и слово которого всегда бывало окончательным. Теперь он молчит. Молчит и Марко. Молчит и Тимко...

Хотя нет! Это они тогда, раньше молчали, потому что Аполлон говорил всегда первым. А теперь, не дождавшись слова от Стрехи, наконец решается и первым подает голос Марко Окунь:

- Как ни крути, Стреха, а придется все-таки сказать...

- Что сказать?

- А то...

- Кому?

- Кому, чему! Кого, чего! Маме твоей! - наконец выпаливает Марко. Больше никому.

- Что ни говори, а она самая близкая нам. И опятьтаки в этих делах что-то понимает, - добавляет Тимко.

Аполлон еще некоторое время возражает им, доказывает, что его мама ничего сама не сможет сделать, а связей у нее никаких.

Хлопцы настаивают. Аполлон долго молчит. Потом, не ответив ни "да", ни "нет", поднимается и все так же молча идет в степь. Хлопцы сидят и смотрят ему вслед...

Внезапное известие о парашютисте, как это и предполагал Аполлон, сначала сильно испугало маму. Но потом, немного придя в себя, она быстро положила в кожаную сумку какие-то инструменты и, никого не разыскивая, ни к кому не обращаясь, сразу же велела сыну вести ее в степь...

Еще сильнее она пугается, когда они втроем спускают ее, обвязав парашютными стропами, в какой-то колодец. Лишь на дне его она отходит и оглядывается вокруг.

Оглядывается с любопытством, не скрывая того, что эта нора ей по душе и все это она мысленно одобряет.

Потом на ее лице еще раз вспыхивает страх, когда она осматривает опухшую уже выше колена, почерневшую, с набрякшими, раздутыми венами ногу парашютиста. Осматривает недолго. Сразу же, забыв о своем страхе, приступает к делу. Срывает грязные бинты, чем-то обмывает ногу, протирает, смазывает йодом и пробует осторожно, чтобы не причинить боли, прощупать...

Парфен пришел в сознание, наверное, именно от боли. Некоторое время он внимательно и сосредоточенно рассматривал миниатюрную темноволосую женщину с остреньким, очень похожим на Аполлонов носиком.

Рассматривал молча, потом глубоко вздохнул.

- Здравствуйте! - встретившись взглядом с парашютистом, громко поздоровалась женщина. - Я мама Аполлона!

- Здравствуйте, - ответил Парфен. - Рад вас видеть, спасибо! - И добавил: - Быть может, скажете, что там у меня такое?

- С полной уверенностью сказать сейчас трудно.

Но... слушайте, товарищ... я сегодня найду знающего, надежного врача. Вы еще поддержитесь. Он сделает все, что необходимо и что от него будет зависеть. Хотя прямо скажу, вы солдат, скрывать от вас нечего. Уж лучше знать все наперед... Понимаете, может оказаться, что обычных мер, простой помощи будет недостаточно...

Возможно, ради того, чтобы спасти вас, придется... Одним словом, вы меня понимаете. - Она умолкла и перевела дыхание. - Лучше готовить себя к худшему... - И вдруг, уже обернувшись к хлопцам, добавила с упреком: - А вы... тоже мне "великие конспираторы"!

Ребята молча г, опустив головы. Особенно неловко чувствует себя Аполлон... "И почему я не сказал ей сразу?!" - думает он, даже и не подозревая в ту минуту, что уже на следующий день мама приведет к больному парашютисту именно того подслеповатого врача из Паланки, а его, Аполлона, пошлет ночью не к кому-нибудь, а к Шульге, тому самому хрому Шульге из Терногородки... И что все они - и врач, и Шульга, и даже его мама окажутся из той самой "Молнии", связи с которой они так настойчиво и так неудачно искали больше года!..

РЯДОВЫЕ ПЕТРО И ПАВЛО

Война затягивалась, входила уже в третий год, и они были детьми этой войны. Им было всего по девятнадцать. По-настоящему смелые, они обладали глубоким чувством долга и поэтому охотно, чуточку даже бравируя этим, играли со смертью.

Ведь молодым не верится, что смерть может коснуться их даже сейчас, когда смерть уже нахально заглядывает в глаза.

А как просто, даже счастливо все начиналось!

В тот июньский день, они - школьники одной из ворошиловградских школ, не имея еще полных семнадцати, заявили в райкоме о своем желании оставить школу и пойти на завод, чтобы заменить родителей, которые ушли на фронт.

Правда, у них самих родителей не было: отец Павла умер еще в двадцать шестом, а Петро воспитывался в детском доме. Однако эти обстоятельства для общего дела существенного значения не имели. Пусть на фронт ушли не их отцы, а отцы и братья других ребят, но ведь на заводе, который теперь должен работать исключительно на войну, кто-то же должен был оставаться!

Сравнительно легко (им не хватало тогда нескольких месяцев до восемнадцати) в труднейший момент эвакуации Донбасса, в сорок втором, они добились того, что их зачислили добровольцами в армию.

Сначала хлопцев отправили на Волгу в резервный полк, где их знакомили со всеми видами оружия, обучали военному делу.

В резервном полку им было не по себе, им не давало покоя желание поскорее вырваться на фронт. Однако старательно учились.

На фронт их не послали. Вместо этого предложили школу парашютистов-разведчиков. Они согласились.

Дело свое освоили быстро и хорошо. Но и теперь во вражеский тыл их не отправили. Снова послали в глубокий резерв, как оказалось позднее, в одну из частей будущего Юго-Западного фронта.

Вместе с этим фронтом они прошли большой и нелегкий путь, участвовали в операциях по окружению вражеских армий под Сталинградом как рядовые бойцы-автоматчики. На родной Донбасс возвратились победителями, с медалями за оборону Сталинграда.

И только после этого нынешним летом вспомнили о них, предложили работать во вражеском тылу. Они охотно согласились. Довольно долго еще после этого готовились и тренировались в группе на побережье Азовского моря. Были очень довольны тем, что и дальше тоже будут воевать вместе...

Последней в их группу явилась миниатюрная, комичная в своей по-детски строгой замкнутости, веснушчатая радистка Настя Невенчанная. Потом прибыл командир - капитан Сапожников, и они, наконец, вылетели...

С самолета, услышав команду, выбросились они почти одновременно. И лишь теперь, впервые за два последних года, да

и то, как оказалось, совсем ненадолго разлучились.

Опускаясь, они почему-то не заметили в небе других парашютистов. Оба, коснувшись земли, испытали гнетущее чувство одиночества, затерянности в совершенно незнакомом, чужом месте.

Петро Гаркуша стоял средь ровного поля в просе, метелки которого не доставали ему даже до края кирзовых голенищ. Освещенное тусклым светом луны, просо стелилось во все стороны, казалось бы, бесконечной равнины.

И лишь в одном месте этого пустынного пространства темным силуэтом выделялось дерево. Высокое... И не какое-нибудь там, а дуб! За ним еще какие-то деревца или кусты. Опушка леса... Наверное, опушка! Петро даже не особенно и обрадовался. Ведь именно так и должно быть. Это тот самый Каменский лес, в котором он, Петро, встретит своих, в котором где-то здесь поблизости уже ждут его Павло, капитан Сапожников, все товарищи.

Следовательно, и этот чертов парашют, белеющий здесь на все поле, можно будет там ненадежнее пристроить.

Петро бодро, решительным и уверенным шагом направился к лесу. Дорогу ему преградила межа с глубокими колеями и высоким, в ромашках, гребнем посередине. За межей был ров, заросший травой, терновыми кустами, шиповником, боярышником и бересклетом, одним словом, всем, чему и положено расти на любом порядочном лесном валу...

Петро решает, что лучше всего сейчас пойти по меже вдоль рва. Достает из нагрудного кармана маленький свисток и подает тихий условный сигнал: "Пить-пить!"

Будто какая-нибудь маленькая лесная птичка пропищала спросонок и умолкла. А через минутку снова: "Пигьпить!" И прислушивается...

Вокруг тишина. Глубокая ночная тишина. И поле и лес безмолвствуют.

Петро идет вдоль лесного оврага, то отходя, то приближаясь к лесу, то скрываясь под густой тенью деревьев, то снова появляясь на освещенной опушке. "Питьпить!.."

А в ответ - мертвая, плотная тишина. "Пить-пить!"

Он идет уже пять, десять, пятнадцать минут... "Питьпить!" Спина покрывается потом, ремень автомата врезается в плечо. И без того тяжелый парашют кажется совсем уже невыносимым грузом. Бросить его нельзя. А закопать покамест еще негде!..

Межа, а за нею и ров сворачивают круто влево. Луна остается за спиной. Петро идет... Сколько же это он идет? Километр, два или больше? "Пить-пить!" Заросли терна переползли через ров

прямо на межу. Над ними раскинул свой колючий шатер боярышник. Дальше кусты. Невысокие. Недавняя, видно, вырубка. Петро кладет парашют в тень, под куст боярышника, усаживается на него и какое-то время отдыхает, расстегнув ворот. Снял пилотку, вытирает ею мокрый лоб. Потом, передохнув, снова сигналиит: "Пить-пить!"

И вдруг в ответ раздается тихое, но вполне отчетливое: "Пить-пить!" Такое в этот миг неожиданное, что ему даже не верится. Быть может, почудилось? Он долго ждет, вслушивается, не просвистит ли еще. Но никто не подает голоса. Странно! Тогда он, рассердившись и не придерживаясь уговора свистеть только дважды, заводит продолжительное: "Пить-пить, пить-пить, пить-пить!"

И точно так же слышится в ответ: "Пить-пить, пить-пить!" Ах ты! Смеется над ним кто-нибудь, что ли? Он с досады опрокидывается спиной на парашют и какое-то время лежит, уставившись на звезды, вслушиваясь в тишину. Попробовать посвистеть еще раз, что ли? "Пить-пить!" - "Пить-пить!" - сразу в ответ. И откуда-то с противоположной стороны неожиданно оглушительный голос:

- Ну и долго вы собираетесь тут свистеть?

Голос Павла!

Петро вскакивает, бросается на этот голос... В самом деле Павле! Поднимается из-под куста. Хлопцы трясут друг друга за плечи так, будто расстались по крайней мере несколько лет назад... Наконец, опомнившись, успокаиваются.

- А кто там еще? - шепотом спрашивает Павло.

- Где?

- Ну там! - кивает в сторону кустов Павло.

- А разве это... не ты?..

- Что?

- Ну... свистел, сигналил.

- И не думал.

- Гм... Странно. Эй, а ну, кто там? Чего дуришь?

Тишина. До неправдоподобности глубокая тишина.

Хлопцы ждут. Ждут, пока не надоедает ждать. "Пить-пить!" - сигналиит теперь уже Павло. "Пить-пить!" - сразу же откликается из кустов.

Павло решительно (ведь они теперь вдвоем!) шагает через ров и углубляется в заросли кустов. Петро бросается за ним. Но Павло успевает сделать всего лишь несколько шагов... Фр-р-р-р! Из куста прямо перед его носом выпорхнула какая-то птичка и сразу же скрылась из глаз. Хлопцы останавливаются, ждут. "Пить-пить!" - сигналиит Павло. В ответ - тишина. "Пить-пить!" -

повторяет он. И снова тишина.

- Тыфу!.. Чтоб ты сдохла! - с досадой плюет Петро, и хлопцы возвращаются к меже.

Оба они уверены, что перед ними Каменский лес и что они после того, как малость передохнут, встретятся со своими и разыщут партизан. И что свои где-то здесь, совсем недалеко, в лесу или в поле, и точно так же уже разыскивают их.

"Пить-пить!" - сигналият хлопцы по очереди, идя вдоль лесного буерака. Но в ответ не откликается даже птица. Долго идут сигнала и встречают за все это время лишь одно живое существо - ежа! Он намеревался пересечь перед ними межу, не успел и свернулся в колючий комок прямо в колее...

Межа и овраг снова круто сворачивают влево. Навстречу тянет влагой, низинной прохладой. "Пить-пить!"

Крутой спуск. Тропинка сужается, огибает кусты осоки, какие-то лужи, болотца. Зеркальце воды в зарослях.

И только здесь, наконец, осмотревшись как следует и измерив глубину водоема палкой, избавляются они от своих парашютов, утопив их в глубоком болотном окошке. Вдобавок они засыпают еще это место кувшинками и ветками вербы.

Миновали несколько крохотных озер, пересекли какой-то ручеек. Тропинка вьется вверх, все влево и влево.

Луна светит теперь им прямо в лицо, потом постепенно плывет направо, а позже скрывается за их спинами...

На часах уже сорок минут третьего. Они блуждают около двух часов. Скоро, вероятно, и рассветать начнет.

Идут, идут, и наконец:

- Слушай, так это же тот самый дуб, от которого мы начали!

Проходят еще несколько шагов, чтобы убедиться окончательно.

- Ну да!.. То же самое место. Терн и боярышник!

Останавливаются, утомленные и обескураженные.

- Так это, выходит, и весь лес? - с досадой говорит Петро.

- Это ничего не значит... Может быть, просто перелесок. А лес где-то там, дальше... Давай-ка лучше малость перекусим. Все равно ведь день придется провести здесь...

- Не хочу я, - возражает Петро, покорно переступая ров вслед за товарищем. Они углубляются в кусты, продираются на полянку и устало ложатся на траву в густой тени знакомого им раскидистого дуба.

"Пить-пить!" - пробует еще раз Павло.

Но лес вокруг молчит.

Спят они по очереди, прислонясь спиной к стволу.

Утро, прохладно-росистое, искристо-солнечное, оглушает их

разноголосым щебетом. Выходит солнце, и птицы приветствуют его радостным пением.

Только хлопцам не весело. Они до предела устали.

В поясище стреляет. Лица бледные, заспанные и осунувшиеся. Горбатый нос Петра еще более заострился и словно бы увеличился. Неподвижно, будто у птицы, смотрят на белый свет его подернутые пленкой усталости глаза.

Полные крупные губы Павла словно бы увяли. Глаза на безбровом лице запали. Но держится он бодро.

Чуть растерянно улыбаясь, предлагает:

- Давай для начала чего-нибудь поедим.

- Да не хочется. Не лежит душа, - опять отказывается Петро.

- Душа солдату по уставу не положена, раз! - возражает Павло, широко сверкнув своими редкими зубами. - Опять же, так дело не пойдет, два! Когда собираются вместе двое солдат, один должен быть старшим, три. Следовательно, назначаю себя старшим, четыре!

Приказываю завтракать, пять! И... вышел зайчик погулять!

Заставил-таки Петра улыбнуться...

Достали из мешка банку тушенки, кусок хлеба, позавтракали и закурили. Потом еще раз неторопливо, теперь уже хоронясь в кустах, обошли лесок...

Вокруг раскинулись пустые, кое-где пересеченные мелкими овражками поля. Совершенно чистые, открытые. До самого далекого, подернутого сиреневой дымкой горизонта не за что глазом зацепиться. Только на севере, где-то на самом окоеме, в густой синеве еле виднеется низенькая зубчатая гряда... Лес? Ну конечно же лес! И именно тот, который им нужен, Каменский! Днем пересекать открытое поле опасно. А вот как только стемнеет и если все будет благополучно, они направятся в ту сторону...

На всякий случай прочесали этот небольшой, почти сплошь дубовый лесок с орешниковым, грабовым и кленовым подлеском еще и поперек. Тропинка завела их вниз, в балку, к холодному лесному источнику. Здесь было множество кустов орешника, густо облепленных плодами. Хлопцы полакомились орехами, напились ключевой воды и, не встретив ничего интересного или подозрительного, возвратились назад, к своему большому дубу.

Время тянулось и долго и нудно. Однако радовало их главное - они были вместе, чем могли развлекали друг друга, поочередно отдыхали. Примерно в полдень Петро поделился своим недоумением:

- Послушай, Павло, как ты думаешь, почему это за весь день в поле не было ни одного человека?

Павло встал на ноги, в который уже раз окинул взором поля:

массивы проса, стерню, заросшие бурьяном и желтым донником полосы, низкую кукурузу, подсолнухи, всю раздольную, подернутую легким прозрачным маревом степную даль.

- А и в самом деле...

Степь действительно поражала странной в эту пору пустотой, угнетала непривычным безлюдьем. В этом таилась какая-то скрытая опасность, тревога.

Тревога эта, как потом выяснилось, была не напрасной.

Люди из окружающих сел не вышли в поле сегодня, не выйдут завтра, возможно, не выйдут и послезавтра.

Притаились, держатся как можно дальше не только от лесных опушек и левад, но и от поля. Поближе к дворам и родным порогам, пока пронесет беду, - ведь по безбрежным степным просторам нескольких районов из края в край перекатывались гитлеровские облавы. Выискивали, выслеживали не только неизвестного, который убил жандармского шофера, но и советских парашютистов...

Смертельная опасность пришла именно с той стороны, откуда они ждали спасения. Накатилась с поля, в глубине которого, где-то на синем горизонте, темнел зуб"

чатой стеной вождеденный Каменский лес.

Сначала из-за далекого пригорка, что за участком проса и желтой стерней, появилось несколько подвижных точек. А через какую-нибудь минуту сыпануло по горизонту, будто горохом из пригоршни. Живые темные точки сыпались и сыпались, разливаясь поперек поля.

Они двигались, приближались, росли на глазах, затем = няя, заслоняя далекую синюю полосу леса живым плотным частоколом.

Павло вскочил, вытянул шею. Толкнул спящего товарища.

- Петро, Петро, погляди!

- Что это?.. Какие-то люди... - бормотал Петро, протирая глаза: Войско какое, что ли? - И оживленнее, с надеждой: - А может, пархоменковцы, а?!

Павле молча присматривался, как там, в поле, этих подвижных точек становилось все больше и больше. Они вытягивались длинной-предлинной цепью. И уже можно было различить отдельные фигурки. Становилось все очевиднее, что это какая-то вооруженная, организованная масса, продвигающаяся вперед с определенной целью. Продвигающаяся, как и надлежит продвигаться военным, цепочкой, с установленной дистанцией, как бывает при наступлении или...

- Боюсь, Петро, - наконец заговорил Павло, - не партизаны это... Скорее, немцы и полицаи. Боюсь, что похоже оно...

Парень умолк, заметив, что справа, значительно ближе к ним, выкатывается из-за низкой кукурузы еще одна цепь, направляясь мимо леса вниз к балке.

- ...похоже оно, Петро, на облаву, - заканчивает Павло.

- Тогда нам отсюда нужно сматываться, и как можно скорее.

Но цепь перед ними уже удвоилась. Часть ее движется через просо прямо на лес, а другая сворачивает все дальше в сторону, обходя лес слева. И уже отчетливо видны вооруженные полицаи.

- Сматываться, Петро, нам уже поздно. Долина просматривается с обеих сторон. Пока пересечем лес, ничего, а на тех голых буграх окажемся перед ними как на тарелочке.

Петро резко встряхивает головой, отводит со лба прядь черных волос и глубже натягивает измятую пилотку.

- Тогда нужно обмозговать, - говорит он, стряхнув с себя остатки сна и сосредоточившись. - Обмозговать и, лучше всего, подождать их здесь.

- Или залечь во рву. Там такой естественный бруствер. Пока они нас... знаешь сколько мы их успеем скосить!

- Да нет! - уже окончательно придя в себя, пожимает плечами Петро. Стрелять мы покамест не будем...

Стрелять в самом крайнем случае...

- Как это - не будем? - удивляется и настораживается Павло.

- А так... Сначала давай малость поиграем с ними в жмурки. У них там теперь, знаешь, всякой твари по паре. Разного сброда отовсюду. Видишь, сколько? Из нескольких районов, вероятно, согнали, да еще и из наших краев, из-за Днепра, беглых подобрали. Недаром же нам давали эти справки. Можно так незаметно втереться к ним, что будь здоров! Прежде всего проверим, на месте ли документы, потом достанем из мешка белые повязки... Вот так!

Цепь, растянувшись широким фронтом, уже сотнями ног топчет просо. Она приближается, фигуры людей увеличиваются на глазах, постепенно, неумолимо. Павло, прищурившись, различает уже лица, винтовки за спиной. Какая-то веселая злость стискивает ему горло и холодит грудь.

- Играть так играть, - цедит он сквозь зубы, соглашаясь с предложением товарища. И со страшной ясностью понимает, что ничего другого не придумаешь. Что надежды на спасение нет почти никакой, но... пострелять и умереть они еще успеют, а тем временем... рискнем!

Авось и пронесет!

А Петро тем временем как бы размышлял вслух:

- Так... Значит, с мешками придется распрощаться.

Можем затолкать их в это вот дуло... Никто не найдет...

Вишь, как хорошо! А сверху еще и листиками посыплем.

Будем надеяться, что собак у них тут не густо и что не к каждому дубу, да еще и на опушке, они будут этих собак пускать. Теперь каинову печать на левую... нет, кажется, надо на правую руку. - Он вытаскивает широкую белую повязку с надписью "Schutzmann", уже порядком заношенную и грязную. Смотри!.. Еще и как лихо выходит. Ну, "лимонку" прямо в карман, автоматы в руки и... отойдем чуточку дальше, за те вон кустики... Вот так.

Встанем за этими кустами и подождем... Они-то ведь не из железа. Тоже смерти боятся. Да еще и как боятся.

Ого! Обязательно будут в лесу жаться друг к другу.

А мы затеряемся среди них и - вперед, в облаву. Будем искать, проследовать самих себя... Прочешем лесок до самой низины, а когда на пригорок начнут подниматься, малость "устанем". Незаметно оторвемся от общей колонны, отстанем и... приляжем. Они пойдут себе дальше, а мы останемся. Если, конечно, какая собака, четвероногая или двуногая, шуму не поднимет. Ну, да все равно...

выбирать не из чего...

Они отходят в глубь вырубки. Над почерневшими дубовыми пеньками, утонувшими в высоком папоротнике, густое переплетение пышных кленов, ясеней, грабов, орешника. Высоко поднимают белые зонты кусты болиголова, валерианы и дерева.

Останавливаются за кустом терна. Собственно, не за кустом, а в зарослях переплетенных между собою многолетних корневищ. Петро притаился между кустом терна и буйными побегами молодого вяза, Павло - в пяти шагах, скрывшись за кустом заплетенного ежевикой шиповника. Совсем, выходит, неплохая позиция. С поля, с опушки их не видно, прямо через кусты терна не продерешься. Хочешь не хочешь, обходи с боков... И где только Петро научился? Вроде бы с виду и не очень оборотистый, а вот, поди же... врожденный разведчик!

Напряженно, затаив дыхание, хлопцы ждут... В лесочке, среди деревьев и кустарников, пронизанных золотистыми лучами предвечернего солнца, все еще стоит глубокая тишина... Глубокая и жуткая.

Петро выжидает - напряженный, подтянутый, готовый к любой неожиданности: побежать, упасть на землю, нажать на спуск автомата или швырнуть гранату. Он весь - внимание, весь - слух и зрение. Глаза широко открыты, ноги как пружины, одна рука сжимает гранату, другая - автомат... Как это начнется? И чем закончится? С чего придется начинать - с автомата или с гранаты?..

Ожидание долгое, напряжение невыносимое. Время тянется

очень медленно, минуты кажутся часами.

А потом все закружилось вихрем, так что разведчик не успевает фиксировать в памяти свои и чужие действия.

Все происходит как бы само по себе. А он - Петро - просто стоит и слушает, наблюдает все это со стороны...

Разом возникает, надвигаясь, монотонный однообразный гул. Будто дружный дождь по соломенной крыше, топот ног... И, прорываясь сквозь этот топот, где-то совсем близко хриплый, скрипучий голос:

- Дистанцию!.. Мать вашу так... Не разрывайся!

В отару не сбиваться, болваны!.. Дистанцию!..

Рядом, всего в трех шагах, качнулась и отошла в сторону ветка бузины. И, будто из воздуха появившись, высунулась чья-то харя... В почти такой же, как и у Петра, пилотке, только надетой почему-то поперек, под круглым носом тараканьи рыжие усы, круглый разинутый рот и

такие же округленные, испуганно-застывшие глаза. На какой-то бесконечно длинный миг эта физиономия упирается невидящим взглядом в лицо Петра, будто ожидая чего-то необычного - взрыва, выстрела, и потом вдруг облегченно вздыхает:

- Фу!.. Ну, что там?..

- А что? - внешне спокойно, но каким-то деревянным голосом переспрашивает в свою очередь Петро.

- Что ты там видишь?

- Тебя вижу.

- Э!.. Слушай, давай лучше вместе... Ближе друг к другу. Не так страшно.

- Давай! - охотно соглашается Петро, сбрасывая внезапное оцепенение. Эй, Павло, давай-ка ближе!

Рыжий полицей с таракаными усами, пожилой уже мужчина, медведем проломившись сквозь кусты, подходит к хлопцам.

- Тю!.. - восклицает не то с досадой, не то с удивлением. - А я думал...

- Индюк думал и сдох, - почти механически парирует Петро.

Где-то позади, удаляясь, вероятно двигаясь вдоль цепи, сыплет матом обладатель скрипучего голоса:

- В отару, в отару не сбивайтесь, как овцы... так вас растак!..

Рядом с хлопцами и рыжим уже ломятся через кусты еще четверо или пятеро. В синем мундире, в изодранном немецком кителе, в черном пиджачке с белой повязкой на рукаве, а один в зеленой, такой, как и у парашютистов, стеганке.

- А я думал, Петро, - совсем уже осмелев среди людей, заканчивает усатый.

- Так я же Петро и есть! - улыбается в ответ Гаркуша.

- Гы!.. Может, и Петро, да только не тот. Тот вон он!.. А вы, хлопцы, откуда же? Терногородские или из Скального?

- Бери еще дальше, - включается в игру Павло Галка. - А ты?

- Я что. Я здешний. Новобайрацкий. А вы не иначе откуда-нибудь из Гуманя?

Слово "новобайрацкий" на миг чудно как-то вспыхнуло в голове Петра, кольнуло тревожно и коротко, будто тонкой иглой, и сразу же, не задерживаясь в сознании, сгладилось. Задумываться некогда.

- Нет, дяденька, мы, почитай, из самого Донбасса! - теперь уже прямо отвечает полицаю парень.

- Хе! Занесло вашего брата куда! - заключает усатый, совсем не удивляясь, а радуясь, что пробивается сквозь опасный лес не в одиночестве и что есть с кем душу отвести. - А в Балабановку четверо аж из Харькова прибилось! А у нас тоже есть один, из самого Ростова топают... А на Донбассе где же вы служили?

- В макеевской полиции.

- А теперь, выходит, в Скальном? Вакуированные, выходит?

- Выходит, - неопределенно тянет Петро.

- Сегодня там, а завтра еще где-нибудь, - помогает ему Павло.

- Вы, получается, теперь у Дуськи, - встречается в разговор еще какой-то, в пиджаке, в военной фуражке и с карабином на веревке вместо ремня.

- А нам все равно, у Дуськи или у Гануськи, - уже наглет Павло.

- Что и говорить... Перепуталось все, грешное с праведным, - жалуется усатый. - Уже и не поймешь, где наши, а где скальновские... Нагнали людей незнамо сколько. Давай, давай, - слегка подталкивает он Петра в спину, не отставая. У тебя ведь, что ни говори, автомат. А с моей хлопушкой на них не полезешь. Вооружены они знаешь как!

- Кто это там такой вооруженный? - то ли всерьез, то ли в шутку хитро спрашивает Петро.

- Ну, парашютисты, кто же еще! - шевелит тараканьими усами полицей. Говорят, сброшено их видимоневидимо!

- А ты уж и перепугался?

- Ну, перепугался не перепугался, а умирать зазря никому не охота, ничуть не обижается усатый.

- ...Дистанция, дистанция, так-перетак! - скрипит все ближе, где-то за спиной.

Они спускаются в балку, перепрыгивают через ручеек, проходят мимо знакомого уже источника. В низинных зарослях лозы, орешника и черноклена хлопцы замедляют шаг, пробуя

незаметно отстать, но усатый и другие прилипли к ним как смола.

Низинные заросли остались позади. Начался редкий дубняк на косогоре. Все вокруг как на ладони. Неужели им так и не удастся отвязаться от неожиданных попутчиков?

- Давай, давай! Веселее, так вашу... растак, - скрипит за дубами.

На душе у Павла сразу же становится муторно. Игра, которая началась так удачно, теперь явно перестает ему нравиться.

Дубы редеют, расступаются в стороны и остаются за спиной. Старая вырубка, кусты, темные купы терновника, полянка... За зеленым валом рва стерня. Дальше желтые пятна сурепки, кукуруза и далекий-далекий пустынный горизонт.

У рва приказано сделать привал.

Раздосадованные и встревоженные хлопцы сразу же валятся в траву. Усатый полицай опять рядом... Остальные чуть поодаль.

В обе стороны, сколько видно вдоль лесного вала, темными группами спины, головы, плечи. Лежат, сидят, сопят, матерятся, перематывают портянки, дымят самосадом.

"Ну и ну! - с досадой думает Петро. - Да еще и Новые Байраки! вспоминает услышанное еще там, на той стороне леса. - Какие такие Новые Байраки в районе Каменского леса?.." И перед закрытыми глазами у него возникает огромная карта за шторкой... "Белое пятно"...

Неужели?! Этого только не хватало! А тут еще эти типы!

Нет, игра явно не нравится Петру. Совсем не нравится.

А как хорошо все начиналось!

Усатый таракан, которого зовут, оказывается, Терентием Грушкой, пристаёт и пристаёт со своими дурацкими вопросами:

- Хлопцы, ну а как у вас там... Вакуироваться все успели?

- Не иначе, - неохотно бросает Петро. - Откуда же нам знать? Нам сказано: "Айда!" Вот мы и пошли.

- Ну, а вот, к примеру... У него вроде бы сила великая?

- У кого это "у него"?

- Ну, у Сталина, выходит, - испуганно оглядывается по сторонам усатый.

- А ты бы у него и спросил...

- Ну, а на Днепре? Как, по-твоему, немец удержится?

- А об этом уж спрашивай у немцев.

- Ну, а как с нашим братом? Не слышали? Ежели, к примеру, попадешь к ним в руки?

И тут не выдерживает Павло, с досадой резко переворачивается на спину, закидывает руки за голову и тихо, но выразительно чеканит:

- Как же, слышали... Вешают нашего брата.

Петро окидывает товарища сердитым и предостерегающим взглядом. Глаза усатого Грушки таращатся, усы нервно подергиваются. Он умолкает. Надолго. Лишь сопит молча, с натугой сосет сигарку...

- О! А это еще что за хлюсты? Откуда здесь взялись? - закрипел вдруг прямо над головами хлопцев знакомый уже им голос.

На гребне рва возвышается фигура. Они видят сначала тупоносые голенища гармошкой - сапоги, над ними широченные синие диагональные галифе, черный френч с накладными карманами, перехваченный накрест ремнями, и уже потом, над всем этим, тонкогубый огромный рот, длинный нос, серые пронзительно-колючие глаза и кожаную фуражку, натянутую по самые брови.

Услышав этот скрип, Терентий Грушка слишком быстро для своего возраста вскакивает на ноги.

- Так что Дуськины приبلудились, пан Митрофан!

Вслед за Грушкой неохотно поднялось на ноги и несколько других полицаев. Лишь парашютисты неосмотрительно так и остались: один - сидеть, другой - лежать.

- А вас что, не касается? - пропустив мимо ушей ответ Грушки, гаркнул "пан Митрофан". - Вста-а-а-ать!

Хлопцы с ленцой, явно выгадывая время, поднялись на ноги.

"Пан Митрофан" придиричиво острым взглядом ощупал обоих с ног до головы.

- Кто такие будете?

- Ну, говорят же вам, - прикидываясь обиженным, пожал плечом Павло. И сплюнул сквозь редкие зубы.

- Как оказались здесь? Почему от своих отстали?

- Перемешались еще там, в Длинном яру, - бросил кто-то из полицаев между прочим, хотя его никто об этом не спрашивал. А Павло сразу же воспользовался репликой, ухватился за спасительную ниточку:

- А нам - "свои", не "свои" - не все равно? Кроме Дуськи, считай, еще никого и не знаем! Ваши ли, наши...

- Это как же, позвольте? - совсем уже насторожился, нахмурил мохнатые брови, "пан Митрофан".

- А так... Вакуированные мы... Новенькие, - прикинулся ласковым и глуповатым ягненком Павло.

- Документы! Живо! - гаркнул Митрофан.

Бумажки-удостоверения на имя эвакуированных макеевских полицаев Петра Гаркуши и Павла Галки перечитал внимательно, слово за словом, даже от старательности губами беззвучно

шевели. Прочел, повертел, заглянул, что там на обороте. Потом посмотрел на свет и, не обнаружив ничего подозрительного, бросил уже спокойнее, даже безразлично:

- Ну, хар-рашо! Встретимся с паном Фойгелем, разберемся.

И вместо того, чтобы возвратить, старательно свернул документы и спрятал в нагрудном кармане.

"Вот тебе и поиграли!" - думал Петро, понуро глядя вслед Митрофану, который уже шел куда-то дальше вдоль рва.

- Да, - обозначив в грустной улыбке редкие зубы, бросил Павло. - Да... Не было, не было, да и выскочило!..

Друзья снова неторопливо уселись на траву, спустив ноги в ров. Не глядя друг на друга, будто по команде, начали сворачивать сигарки.

- Полицай Грушка, полицай Грушка! - раздалось через минуту с левой стороны, покотившись вдоль лесного рва. - Полицай Грушка, на левый фланг!

Грушка сплюнул, ругнулся и, набросив ремень винтовки на плечо, помчался вдоль рва в ту сторону, куда несколькими минутами раньше ушел Митрофан...

Возвратился он очень скоро, насупившийся, со строгим, что называется, официальным выражением на тараканьей физиономии. Не сказав никому ни слова, сел возле хлопцев, исподлобья взглянул на одного, на другого и грозно повел усами.

А снизу по меже поднимался толстый, разомлевший на солнце немец в коричневом мундире с большой черной кобурой на животе. Лево́й руко́й с зажатой в ней пилоткой вытирал потный лоб и лысину, а правой слегка ударял полицейав по спинам свежесрезанной палкой.

- Steht auf! Steht auf! Vorwärts! - приказывал незлобиво, словно бы даже шутя. - Vorwärts, meine Kinder, [Поднимайся! Поднимайся! Вперед! Вперед, дети мои! (нем.)] туда-растуда фаш матка!

В тот день, принимая участие в облаве на самих себя, Петро и Павло топтали стерню, прочесывали просо и шелестели в кукурузе еще около двух часов.

Солнце, скатываясь к горизонту, становилось все ласковее. Опускался золотой вечер над тихими полями.

И такими чужими, лишними казались здесь, на этом ласковом степном просторе, эти одетые кто во что горазд, вооруженные люди, с их хрипылыми, пропитыми и прокуренными голосами, грязной бранью, трусостью и ненасытной жадностью людоловов, жаждой крови...

Хлопцы устали и проголодались. С каждой минутой все грустнее и неприятнее становилось у них на душе.

Грушка, с застывшей, сосредоточенной и недоверчиво замкнутой рожей, не отставал теперь от них ни на шаг.

Все время неподалеку вертелось еще несколько полицаев. Видно было, что это неспроста... Одним словом, приближалось что-то недоброе, явно угрожающее. А как хорошо все начиналось! Вроде бы очень удачно выпутались. Каменский лес - вот он, рукой подать! Думалось, скоро встретятся со своими, а там и с партизанами, немедленно свяжутся со штабом. И даже тогда, когда вместо своих столкнулись с полицаями, все еще казалось таким нестрашным, даже чуточку смешным. А теперь вот, видать, доигрались. Сами себя загнали в западню и попали в плен к полицаям. Документы у них отобраны, и сами они фактически взяты под стражу. Убежать, отстать - ни малейших шансов. И неизвестно, чем все это закончится.

А тут еще эти Новые Байраки, Скальное, Терногородка! Совсем не должно быть всего этого в районе Каменского леса! Куда это их занесло? Неужели они приземлились не там, где нужно? Куда исчезли капитан Сапожников, Настя, все остальные?

Было уже совсем темно, когда они остановились в каком-то селе. Там уже было полно полицаев. Хорошо еще, что это были, как выяснилось, не скальновские, а терногородские и еще какие-то головорезы, которые называли себя "русской добровольческой армией". Именно у командира этого сброда, оказывается, были и две овчарки-ищейки...

Село растянулось длинными улицами вдоль бесконечной балки. В центре села на большом выгоне, давно заросшем молочаем, полынью и чертополохом, дымилась солдатская походная кухня. Полицаев покормили какой-то похлебкой и, выставив усиленную охрану, уложили спать вповалку на том же выгоне под ясной луной.

Хлопцам было не до сна. Они лежали плечом к плечу, думали, но переброситься между собой даже словцом не имели ни малейшей возможности. Грушка лежал рядом. Теперь они уже не сомневались, что он к ним специально приставлен. На протяжении всей ночи он так, кажется, и не уснул. Стоило лишь кому-нибудь из хлопцев шевельнуться, как он сразу же, вздыхая, отрывал от земли голову. А когда Павлу понадобилось отойти по нужде, побрел за ним и Грушка. Одним словом, все складывалось не очень весело.

Светила, будто ради великого праздника, ясная луна.

И это было так некстати, когда все вокруг забито полицаями и всякой швалью, собранной сюда чуть ли не со всей области. Но и то правда, бежать было некуда и не к кому.

На следующий день толклись в этом селе чуть ли не до

одиннадцать часов утра. Все ждали какого-то приказа, никак не могли согласовать, как действовать дальше и кому кого слушать.

Наконец, уже с наступлением жары, тронулись. Новобайрацкие, как и вчера, отдельно, своим собственным маршрутом, а терногородские с "добровольцами" вместе.

Долго брели по ровным, как стол, полям, по стерне, по бурьянам, по целине. Степь лишь кое-где была разрезана неглубокими ложбинами и покрыта негустыми старыми лесополосами.

После обеда вышли к широкой пустынной долине какой-то речки. Вдоль дороги, ближе к речке, расположилось небольшое село. И тут полиция повезло. В расселине глинистого обрыва возле села собака, которую выпросил у "добровольцев" и вел теперь на поводке толстый немец, к чему-то начала принюхиваться.

К немцу подошел Митрофан, присмотрелся, нагнулся, поковырялся в отвалах свеженасыпанной глины и вытащил на свет... новенький парашют...

Это была удача. Стало очевидно, что сюда сбросили, как они и предполагали, не одного парашютиста. Значит, парашютист должен быть тоже где-то поблизости...

Облава задвигалась, забурлила. Поднялся шум и гам. Все в этом крохотном селе и вокруг него перерыли и перевернули вверх тормашками. На кого-то кричали, кому-то угрожали, кого-то до крови избили, кого-то даже арестовали. Рыскали несколько часов, чуть ли не до вечера. И хотя никого и ничего больше так и не нашли, все же ясно было, что селу этому еще придется хлебнуть горя.

Петро с Павлом, плотно стиснув зубы, под надзором Терентия Грушки тоже участвовали в обыске крайней от дороги хаты, которая стояла на отшибе, поодаль от улицы. Жили в этой хате сухощавая, статная и высокая старуха и болезненный, кривой на один глаз хлопец, вероятно, их ровесник. Старуха, пока полиция переворачивали все в доме и во дворе, не обращала на них никакого внимания, хлопотала то в огороде, то возле летней кухни за хлебом. Хлопец сидел на пеньке возле хаты и молча следил за всем происходящим своим единственным, неестественно напряженным большим глазом.

В хате, в хлеву, на неогороженном дворе было пусто, хоть шаром покати. Только Грушка, оказавшийся удивительно старательным сыщиком и обладавший нюхом поистине собачьим, нашел, к чему придраться. Отыскал, вишь, чьи-то следы на грядке конопли. Кто-то вроде бы тут ходил недавно или даже лежал.

- Ага! Так вот где вы парашютиста прятали! - обрадовался

Грушка.

А хлопец невозмутимо глянул на него и криво улыбнулся.

- Немец здесь убитый лежал... А свои брали его в машину. Вот и вытоптали... Гришка Распутин, полицей наш, все знает...

Закончив с обыском, какое-то время отдыхали на травке. Напились воды, закурили. Угостили куревом и одноглазого. Павло Галка спросил:

- А как называется эта речушка?

- А ты что, привезенный? - вопросом на вопрос ответил одноглазый.

- Выходит, привезенный...

- Ну тогда Кагарлык!

- Чудное какое-то название. А село?

- Что село?

- Село как называется?

- Жабово. А что?

- Фюйть!.. - не удержавшись, свистнул от удивления Павло. И сразу же спохватился. - Ничего особенного. Просто так спрашиваю...

И чуть позже, уже готовясь в дорогу, уллучил минутку, чтобы сказать Петру:

- Ну? Что ты скажешь, а? Жабово!..

- Сами себе и напорочили, выходит, - нахмурился Петро.

- Да... Теперь действительно смотри, чтобы нам самим жаба прикурить не дала.

- Давай-давай! Стройся! - скрипел, спускаясь вниз к речушке, "пан Митрофан".

С наступлением вечера облаву прекратили. Оставив в Жабове засаду, кое-как выстроились на дороге возле мостика и тронулись уже колонной.

Впереди степенно и неторопливо шагал толстый немец в коричневом мундире. В хвосте, в последней четверке, Петро с Павлом. Шли они в середине. По краям с одной стороны Грушка топорщил тараканьи усы, с другой косился носатый верзила в черном пиджаке с парабеллумом на поясе и винтовкой на правом плече. Замыкая колонну, шел в сторонке, по обочине, сам "пан Митрофан".

Таким образом, о побеге не могло быть и речи. Вокруг голая степь. Слева стерня, справа редкая низенькая кукуруза. Солнце, скрываясь за горизонтом, плавит на золото белые легкие тучки. Пахнет чабрецом, пылью, сухой свежей соломой.

Петро, понуро свесив голову - черный чуб падает прямо на глаза, неторопливо передвигает ноги вслед за передним полицаем, устало думает свою невеселую думу: "Вот и еще один

день позади... Заканчивается еще один золотой вечер. Если бы знать наперед, сколько их еще осталось нам? Неужели так и не удастся выкрутиться? Не может этого быть! Просто не может быть! Знать бы только, где же это рассыпались и блуждают сейчас наши. Или, быть может, они уже все вместе, и только мы так вот по-глупому влипли?.."

Шагает рядом с Петром непривычно молчаливый Павле, думает о чем-то своем.

"Неужто и в самом деле занесло нас на "Белое пятно"? Неужто это и есть то самое Жабово, которым мы еще недавно там, в засекреченной штабной комнате, возле карты пугали Настю? Макухи мы, выходит, и есть, ежели так! Просто не хочется верить! И с этими харями тоже, можно сказать, влипли... Связались, а теперь никак не развяжемся. Хорошо, что хоть ночь впереди. Может, что-нибудь сможем придумать... Казак не без счастья, девка не без доли!"

Дорога по огромному пологому степному кособокому поднимается все вверх и вверх. Наконец выровнялась, вымахнула на перевал и еле заметно, плавно начала снова спускаться вниз, скрываясь где-то далеко-далеко в размытой синей дали. А ближе, примерно в двух-трех километрах, показалось большое село. Раскинулось по долине, рассыпалось соломенными крышами, полосками огородов и темными купами вишенника. Дым поднимается над трубами, возвышаются на пригорках пирамидальные тополя. Охватывая полсела, стальным серпом сверкает речка.

- Это что? - спрашивает у полиция Павло.

Но Грушка совсем уже обнаглел.

- А вот придем, там тебе и скажут, - бросает он с нескрывтой угрозой в голосе. Или это Петру мерещится?

Ведь вот сразу же и вроде бы даже охотно ответил Павлу верзила в черном пиджаке.

- Да чего там! - словно возразил он Грушке. - Новые Байраки! Чего же...

"Нет, мы действительно-таки сунулись не туда, куда следует!" - с горечью, теперь уже без прежних сомнений заключают оба "святые".

Сразу же возле крайней хаты степной грейдер переходит в мостовую. Выбоистую, запущенную и неровную.

Добрая сотня ног поднимает оглушительный грохот. Идти становится все труднее. Задние, пытаясь взять ногу за передними, подсказывают на ходу, топчутся, сбивая

соседей. Колонна втягивается в русло широкой улицы, обсаженной вдоль оград кустами желтой акации.

Впереди, в голове колонны, размахивая палкой, что-то кричит толстый немец. Не только хлопцы, но даже и полицаи не могут взять в толк, чего он хочет. Один лишь Митрофан, хотя и был дальше всех от немца, сразу же разгадал.

- Песню! Песню, туда вас растуда! - скрипит он немазанным колесом.

И сразу же где-то рядом с Петром раздается тоненький-тоненький, по-девичьи писклявый дискант; Соловей, соловей, пташечка...

Петро удивленно скосил глаза. Да, как это ни странно, но, вытянув жилистую шею и вытаращив глаза, запевает именно Терентий Грушка. И десятки голосов нестройно, зато громко поддерживают его:

К-канареечка жалобно поет!

И парашютисты, словно только и ожидая этого, пропустив лишь первые два такта, сразу, подчеркивая тем самым, что они ничего не замечают, ничего не боятся и вообще здесь в доску свои, подхватывают смело, перекрывая даже густой басыще носатого верзилы в черном пиджаке:

...И ать и два, горе не беда!

Канаре-ечка жалобно поет!

С этой "Канареечкой" они прошли почти все село. В центре, неподалеку от речки, завели их в большое, на два крыла, помещение школы. В конце длинного, тускло освещенного коридора с ободранными, исписанными всякой гадостью стенами и затоптанным полом были расположены вдоль стены деревянные, наспех сколоченные козлы для винтовок. Митрофан приказал сложить оружие. Хочешь не хочешь, пришлось расставаться хлопцам с автоматами.

"Вот тебе и "Канареечка", чтоб она сдохла", - подумал Петро, цепляя ремень автомата на гвоздь.

"Ничего... как говорят, еще не вечер и еще будет видно, кому придется жалобно запеть", - подумал и Павло, притрагиваясь рукой к "лимонке" в кармане.

Однако, как только они вместе с несколькими полициями вошли в небольшую классную комнату с голыми стенами и рыжими, набитыми соломой мешками на полу, в дверях появился Митрофан.

- Обыскать! - приказал резко, доставая парабеллум.

И не успели хлопцы даже сообразить, к кому относится это "обыскать", как уже руки им быстро и привычно заломили назад. Тут, в четырех стенах, в центре села, полицаи действовали смело, не то что в степи. К тому же они, вероятно, заранее обо всем договорились.

- Да вы с ума спятили! - с показным удивлением крикнул Павло. А Петро лишь пожал плечами и от досады сплюнул.

Четыре "лимонки", два немецких пистолета и какие-то старые перочинные ножики, конечно, ни о чем еще не свидетельствовали. А больше ничего у них не нашли.

Когда хлопцам, наконец, приказали сесть в углу, в комнате было уже совсем темно. Кто-то зажег и поставил на подоконник керосиновую лампу.

- Грушка! - приказал Митрофан, все еще держа пистолет в руке. - Смотри за ними в оба. Не отходи ни на шаг! Знаю я таких субчиков!.. - Рука у него заметно дрожала, и он долго не мог попасть пистолетом в кобуру. Наконец вложил, застегнул. - Пока я позвоню пану Коропу или пану Макогону, смотрите здесь, ежели что...

сами знаете...

- Слушаюсь, пан Митрофан! - выпятил грудь и грозно оттопырил усы Терентий Грушка. Он сразу же встал у окна с винтовкой наизготовку. Остальные полицейские разлеглись на мешках, отгородив хлопцев от дверей.

- Я в-вас-с выведу на чистую воду! Видал и не таких! - еще раз на всякий случай пригрозил Митрофан, круто повернулся на месте, показав перехваченную новыми ремнями спину, энергично шагнул к порогу и...

вдруг отпрянул, попятился назад.

Дверь перед его носом разом широко и резко открылась, и в проеме появился высокий, грузноватый, но энергичный человек.

- Пан Митрофан? - спросил, видимо не сразу привыкнув к полутьме. И тотчас же, узнав: - Здоров!

- Здравствуйте, пане... - вытянулся Митрофан. Он назвал при этом фамилию, но хлопцы ее не расслышали.

Человек шагнул от порога и пожал Митрофану руку.

Был он в синих галифе и кителе. Лицо в тени, под козырьком фуражки. Голос грудной, басовитый. И вел он себя здесь уверенно, привычно, по-хозяйски. Видно было сразу, что полицейские не только хорошо знают его, но бо-

ятся и безоговорочно подчиняются каждому его слову.

- У тебя тут какие-то чужие приبلудились, - уверенно сказал новый, будто давно уже зная обо всей этой истории с хлопцами.

- Да, собственно, да, - явно удивился, но еще больше встревожился Митрофан.

- Где они?

- Здесь... Уже вот здесь! - Не зная, угодит или не угодит этим начальству, он добавил: - Вот они... Мы их малость уже разоружили.

- Молодцы! - похвалил мужчина и, переступая прямо через полицаев, которые не успели вскочить с мешков, направился к хлопцам. - Встать! приказал негромко, ровным, но властным голосом.

Ребята поднялись.

- Кто такие будете?

- Полицаи, - за обоих ответил Павло, твердо глядя этому человеку в переносицу.

- Допустим на минутку... А откуда?

- Ну, из Скального же! Мы ведь говорили! - как с моста в воду, бросился в разговор Петро. - Сколько же можно талдычить!

- Из Скального? - нагнулся чуть ли не к самым их лицам мужчина, и в голосе его послышалась скрытая угроза. - И вы в этом уверены? Очень, очень хорошо...

Вот именно вас, голубчики, мне и не хватает... Пан Митрофан, там у меня бричка возле ворот. Вывести! Я как раз собирался погостить в Скальном, а тут и попутчики случились...

Петро втянул голову в плечи и закусил губу. А Павло заметно побледнел...

Когда их уже подталкивали, дергая за одежду, к двери, Митрофан как-то обмяк и облегченно-радостно сказал:

- Ну вот... я так и думал... Не иначе, думаю, как парашютисты.

А Терентий Грушка громко, с глуповато горделивой глубокомысленностью добавил:

- Яснее ведь ясного. Сразу же было видно.

Их повели по тускло освещенному коридору. Полицаи, бродившие там, торопливо, испуганно уступали хлопцам дорогу, прижимаясь к стенам. А потом долго смотрели вслед с нескрываемым испугом и удивлением.

И в мертвой тишине как-то болезненно отдавались эхом шаги и раскатывался басовитый грудной голос того, в галифе:

- Пан Митрофан! Все, что у них отобрали, тоже отправить со мной.

На дворе была уже ночь. Синяя-синяя августовская ночь. В небе, казалось Петру, как-то особенно мерцали синевато-зеленым пламенем звезды. В воздухе густо пахло укропом и неуловимо-тонко яблоками. Где-то впереди квакали лягушки. И, кажется, всходила или только лишь готовилась всходить луна... И... елки зеленые! Какие все они - и краски, и звуки, и запахи земные были в эту минуту милые сердцу, до боли родные и... недостижимо далекие! Нет, не верится, не хочется верить, чтобы все это он видел, слышал и ощущал в последний раз!

В центре школьного двора, неясно темная, стояла бричка,

запряженная парой серых высоких коней. Вожжи держал, сидя на козлах, ездовой с автоматом на шее и брылем на голове.

Их оружие этот, в галифе, приказал положить в передок, в ноги ездовому. Хлопцев со связанными назад руками усадили на заднее сиденье, спинами к лошадям.

Неизвестный расположился рядом с ездовым, но лицом к хлопцам. Усевшись поудобнее, широко расставив ноги, достал из глубоких карманов галифе по пистолету, ткнул этими пистолетами хлопцев в спины, будто примеряясь, и сказал:

- Вот теперь уже можно и трогаться.

- А помощь не понадобится? - заглядывая снизу в лицо незнакомцу, спросил Митрофан.

- Не понадобится, - как-то насмешливо кинул тот. - Дело, можно сказать, привычное. Да и недалеко здесь...

Сначала к пану Бухману в жандармерию заглянем...

Тронулись!

Однако произошла задержка.

- Стой! - вдруг неожиданно вскрикнул Павло. - А документы?

- Какие такие документы?! - искренне возмутился тот, в галифе, и ткнул Павла пистолетом в затылок. - Не шевелись, понял? У меня, ежели что, разговор короткий...

- Да наши же документы! - будто не услышав этого предостережения, продолжал Павло. - Они у него, у этого папа Митрофана!

- А, верно, - охотно подтвердил Митрофан. - Совсем выпало из головы... Дырявая голова, прости господи.

Он достал отобранные еще вчера у хлопцев удостоверения и аккуратно уложил их сам в левый карман кителя неизвестного, поскольку руки у того были заняты пистолетами.

Наконец тронулись. Кони рывком вынесли бричку на улицу, колеса загрохотали по мостовой.

- Счастливо!.. - с явным опозданием крикнул вслед Митрофан.

Его пожелание утонуло в грохоте колес.

КАПИТАН САПОЖНИКОВ

...Новобайрацкий староста Макогон был на особом счету не только у районного коменданта, с которым работал и дружил, но и у самого шефа жандармского поста герра Бухмана. В полиции же от начальника Коропа, его заместителя Митрофана и до самого последнего полиция Макогона боялись, прислушивались к каждому его слову и выполняли каждый его приказ. Хотя про себя, иногда, как говорится, плакались "в подушку". Потому что пан староста не брезговал перед герром жандармом приписывать себе многие из их полицейских заслуг...

Потому-то и не удивительно, что печальная весть о двух советских парашютистах, задержанных и выданных немецким жандармам старостой Макогоном, распространилась уже на следующий день. Сначала в Новых Байраках, а потом и дальше, из села в село, видоизменяясь и обрастая новыми подробностями.

И хотя позднее говорили и другое, будто эти "парашютисты" были просто беглыми полициями, проверить этого, конечно, никто не мог. Мысль о такой проверке не приходила в голову даже самому Митрофану. С него достаточно было и того, что Макогон однажды между прочим обронил при нем: на очной ставке все выяснилось, и эти полицаи остались в Скальном. Но никто, конечно, этого объяснения не слышал и проверить не мог. И слух о парашютистах расходился все шире и шире...

Правда, произошло это уже потом, позднее...

Покамест же серые кони вынеслись со школьного двора на мостовую, и мы поехали вдоль темной широкой улицы вниз, к центру села.

- Сворачивай влево! - приказал Макогон.

Я с большим трудом сдерживал сытых, разгоряченных лошадей, сворачивая в темный узенький переулок.

Грохот стих, мостовая осталась позади. Позванивали мелодично лишь втулки колес да глухо молотили копытами пыльную дорогу серые. По сторонам белели хаты"

возвышались черные ажурные кроны акаций.

- Влево! - приказывает Макогон.

Параллельно мостовой пролегалла широкая, с накатанной колеей улица. Однако и по ней едем недолго.

- Круто направо!

Такая же широкая немощеная улица. Белые стены и темные окна хат. Кусты. Дорога идет на подъем. Сытые кони легко мчат тяжелую бричку. В свете низкой луны стелется за нами вдоль улицы призрачный хвост пыли.

Кое-где во дворах еще хлопочут люди. Срываются иногда голоса, звякает ведерная ручка, стучают двери. Появление этой подводки на улице, вероятно, ни у кого не вызывает удивления. И потому, что еще не так поздно, и потому, что серые лошади Макогона здесь всем хорошо известны. Тут не то что присматриваться да интересоваться, тут старайся лучше, чтобы сам, не дай бог, на глаза не попался...

- Влево! Круто влево! - командует Макогон в конце улицы, уже возле крайней хаты.

Узенькая полевая межа. Справа степь, слева ров, заросший дерезой, и за рвом огороды, сады...

- Влево, влево!

Возвращаемся, кажется, назад, в центр? Похоже, но, кажется, и не совсем... Улица обыкновенная, подобная тем, которые уже проехали. Только теперь она полого сбегает вниз, пересекая еще какие-то улочки и переулки.

За одним из этих переулков, кажется, уже за последним, дорога круто срывается вниз.

- Придерживай, придерживай! Там очень крутой спуск! - кричит сзади Макогон.

Туго натягиваю вожжи. Кони, приседая на задние ноги, чуть не обрывают шлеи.

Хаты остались где-то позади, отошли в сторону. Слева и справа за валами заросших густой дерезой рвов огороды и сады. Навстречу снизу в лицо туго бьет прохладой. Из сумерек выныривают высокие вербы. Овраг. Левады. Плес. Деревянный мостик через речушку, и за ним слева журавль над срубом колодца.

Макогон, забрав у меня вожжи, направляет коней прямо к длинному корыту, приказывает:

- Не мешкать! Скорее в левады и домой!

Он прыгает с телеги, подходит к корыту и разнуздывает коней.

Осматриваюсь по сторонам. Узнаю улицу, которую пересекал позaproшлой ночью с парнишкой, лица которого даже не запомнил.

Скрипит журавль, звякает цепь. Макогон выливает в корыто ведро за ведром. Кони, пофыркивая от удовольствия, пьют холодную воду.

Хлопцы какое-то мгновение сидят, потрясенные и тихие, как цыплята, не понимая, где они, что с ними происходит, что будет дальше и для чего им развязывают руки.

- Скорее! - приказываю уже я и сую им в только что развязанные руки автоматы. - Все, все забирайте!

Вот здесь, в передке. И за мной...

Они не переспрашивают, не выясняют. Однако не задерживаются.

Перепрыгивая неглубокий окоп, бегу выющейся в зарослях лозняка и бурьяна тропинкой.

Ребята удивительно спокойно и расторопно следуют за мной.

Отбежав сотню-другую шагов, останавливаюсь на полянке. Они с разгону насккивают на меня и, еле удержавшись на ногах, замирают.

Поворачиваюсь к ним лицом и снимаю с головы брыль. Блестящие вытарашенные глаза. Бледные в лунном освещении лица.

- О-о-о-о! - наконец выдавливают Петро Гаркуша.

- Т-так, это же вы... товарищ капитан! - то ли с упреком, то ли с восторгом восклицает и Павло Галка.

Пока добираемся по уже знакомой мне тропинке к риге Макогона, хозяин, оказывается, уже ждет нас дома.

Когда я, спрятав ребят в риге за снопами, выхожу во двор, серые уже стоят головами к бричке, распряженные.

Макогон вышел мне навстречу со стороны амбара, из густой тени. Вошли в хату, закрылись на кухне...

Внешне Макогон казался совсем спокойным. Сел рядом на топчан, положил фуражку, достал сигарету, прикурил от лампы.

- Ну, вот... - сказал, выпуская дым через ноздри. - Можно сказать, с креста сняли твоих "святых"... А хлопцы у тебя, оказывается, brave, не пищат... Молодцы, одним словом! Только забирай ты их, ради господ бога, и уматывайтесь от меня как можно скорее! А то свяжешься с вами, сам головы на плечах не удержишь. - Он утомленно улыбнулся, жадно затянулся сигаретой. - Они, бедняги, конечно, ничего не поняли... Так условимся, что им и знать ничего не следует. Ведь это ни к чему... Одним словом, обо мне ни звука...

В три затяжки выкурив всю сигарету, он поднялся на ноги, бросил окурки в ведро под шестком, зачем-то прислушался, как там зашипело,

- Ну что ж, капитан... Сейчас я все-таки поеду в жандармерию. Думаю, так будет лучше. А вас моя Парася тем временем проведет к Цимбалу. Он, Цимбал, все эти хитроумные подпольные штучки знает. Ему и карты в руки. И устроит и связь поможет наладить. Меня же вы не знали, не видели и вспоминать не должны. Меня для вас не существует. - Минутку помолчал, задумался, даже глаза закрыл. - Ну что ж, желаю тебе удачи, капитан! Как говорится, будь здоров и не поминай лихом...

Кто его знает... Не скоро, вероятно, не скоро, а быть может, когда-нибудь еще и встретимся. Сейчас я тебя выручил. В другой раз ты меня выручишь...

Горло мне что-то подозрительно стиснуло. Я крепко крепко сжал его большую, тяжелую, с твердыми узловатыми пальцами ладонь.

- Спасибо, товарищ Макогон. За все спасибо.

- Бога благодари, - вероятно, чуждый всяким сантиментам, пошутил Макогон.

Известными лишь ей глухими тропинками жена Макогона вывела нас из села. Она, видимо уже привыкшая к ночной тревожной жизни, часа три водила нас по степным глухим ярам и лесополосам. И только под утро вывела в Балабановку к Цимбалу.

Пожилой, сухощавый сапожник встретил нас в вишневом саду в конце огорода. Поздоровался буднично и просто, как будто случайно встретился с близкими соседями после недолгой разлуки. Пожал каждому руку, сказал неторопливо:

- Так вот вы какие! Шуму, можно сказать, на целую область. А сами, оказывается, совсем молоденькие. Ну, что же... Молодцы, хлопцы, молодцы!

Потом отпустил жену Макогона и, взглянув на Петра и Павла, которые устало пригорюнились на валу заросшего пыреем рва, сокрушенно покачал головой.

- Натомились, молодцы? А отдыхать, к сожалению, некогда... Уж как-нибудь потом отдохнем. До утра нужно успеть на место. А до "Раздолья" как-никак пятнадцать километров...

В поле за лесополосой нас ждала телега с ездовым в синем мундире полица и с винтовкой через плечо. попрощались с Цимбалом и тронулись по предрассветной степи.

Хлопцы мои совсем обмякли и, сидя в задке телеги, клевали носами. Молодой полицаи неторопливо помахивал кнутиком, еле слышно напевая себе под нос какую-то песенку и не проявляя к нам, по крайней мере внешне, никакого интереса. Черта, между прочим, присущая, кажется, всем, кого я встречал здесь за эти три дня. Два года страшной оккупации и кровавой неравной борьбы наложили здесь на всех свою печать и приучили к осторожности и сдержанности.

"Раздолье"! Это было настоящее раздолье - неожиданный, обсаженный с трех сторон тополями, а с четвертой старыми вербами зеленый оазис в бескрайней степи.

Поистине райский уголок! И старый Цимбал, - как я узнал об этом впоследствии, секретарь подпольного райкома, - был словно последним пропускным пунктом, пересыльным комендантом или святым Петром на пути в этот рай.

Подъезжали мы к нему, не таясь.

Взошло солнце. Степь звенела, стрекотала, разливалась птичьим щебетом, сияла каплями росы. Она была такой привольной и безбрежной, что глаз человеческий не мог различить, где в далеком синевато-малиновом мареве небо сливается с землей.

И в самом центре этого простора - буйно зеленый лесистый массив, изумрудный прямоугольник в обрамлении высоких тополей. Несколько десятков гектаров сада, темные крыши каких-то зданий; внизу, в долине между вербами и осокорями, в камышах, лозняке, кувшинках исходит легким паром пруд.

Дорога ведет на узенькую и невысокую гать. С нее в липовую аллею. Липы - старые, с узловатыми, оплывшими стволами -

смыкают густые кроны прямо над нашими головами. А за черными стволами, сколько видно, сады. Яблони, груши, сливы, черешня. А под гору - за липовой аллеей - малинник, смородина, крыжовник, барбарис. И между кустами пасека. Десятки пчелиных хорошо ухоженных ульев. Воздух над всем садом звенит, полнится пчелиным гулом, пахнет медом, яблоками и горьковатым вербовым дымком.

А на большом подворье, обрамленном длинными строениями, заросшем травой, перед окнами большого, на два крыльца, приземистого дома встречает и приветствует нас милый дедусь-пасечник... Ну, дедусь не дедусь, однако человек пожилой. Приветливое округлое лицо, ясные зеленовато-серые глаза, светло-русая лопаткой борода.

На нем старый чистый парусиновый костюм, летние парусиновые туфли. На голове сетка от пчел, в руке забитая сотами рамка.

- С благополучным прибытием! - приветливо улыбается дедусь. Здравствуйте. - И добавляет, протягивая руку для приветствия: - Меня зовут Виталий Витальевич.

Удивленный и растерянный, невольно осматриваюсь я вокруг.

За пасекой на грядках с помидорами трое девчат.

"Наш" полицай на подворье распрягает коней. А поодаль, возле хлева, еще один полицай - высокий, русский, без шапки - прогуливает золотисто-гнедого сытого коня.

Мои "святые", передремав в дороге, удивленно протирают глаза и недоуменно смотрят вокруг: в действительности ли все это происходит или мерещится?

Дедушка-пасечник Виталий Витальевич, вероятно пожимая наше состояние, мягко и успокаивающе улыбается:

- Не беспокойтесь и не обращайтесь... Сегодня тут у нас только свои...

Через каких-нибудь полчаса, хорошо позавтракав, Петро с Павлом укладываются спать в пустом хлеву на ворохе свежего сена. А мы с Виталием Витальевичем садимся на деревянную скамью под дуплистой липой и закуриваем.

- Вы даже и представить себе не можете, какое это счастье для меня и для всех нас! Подумать только, встретиться с людьми оттуда! - с ноткой грусти говорит Виталий Витальевич. - Это же только подумать - два года!

Он умолкает, и я замечаю, как меняется его лицо. Минуту назад мягкое и приветливое, оно становится вдруг суровым и замкнутым. Над переносицей прорезается глубокая вертикальная морщина, губы плотно сжимаются.

Под глазами у него резко обозначаются тяжелые мешки, а в глазах вспыхивают колющие огоньки...

- Вам, вероятно, это показалось странным? - с горечью спрашивает он и рассказывает после этого сдержанно, скупое, приглушенным голосом.

"Раздолье" - бывшее опытное хозяйство К-ского сельскохозяйственного института. Главным образом - акклиматизационная станция. А уже возле нее и все хозяйство практического вспомогательного характера...

Он - Виталий Витальевич - преподаватель института и заведующий опытной станцией. В сорок первом, в июле, его пригласили в райком партии, предложили остаться в подполье, поселиться в этом хозяйстве и ждать связей и указаний.

Он и остался.

После того как одна за другой провалились в первые же месяцы несколько подпольных групп и погибла чуть ли не вся оставленная руководящая верхушка района, он понял, что никаких связей и никаких указаний не дождется. А сидеть сложа руки не имеет права, совесть ему не позволяет. Начал действовать сам. Начал с малого.

Разыскал и устроил на работу двух бывших студентовкомсомольцев. Сначала, конечно, действовали как и большинство в их условиях в то время. С горем пополам смонтировали приемник, записывали сводки Совинформбюро, писали листовки от руки. А потом попала к ним печатная листовка "Молнии"... Через хлопцев ниточки потянулись в соседние районы. Наконец нащупал их и сам товарищ Цимбал. (Фамилия, разумеется, не настоящая, подпольная.) А уж от него и до областного центра дошли. А там, конечно, поняли: хозяйство - просто идеальное место в смысле конспирации. На редкость удобно для такого, пускай и небольшого, подпольного центра.

Сейчас хозяйство в образцовом порядке. Фрукты, пасека, овощи. Все здесь под персональной опекой самого гебитскомиссара. Он оказался даже каким-то специалистом по сельскому хозяйству. Хозяйство это имеет подобие охранной грамоты, этакое табу для всех. Имеет также и постоянную охрану - пятерых полицаев. Все пятеро - бывшие студенты Виталия Витальевича. Чувствуют себя хлопцы, конечно, неловко, стыдятся, все это болезненно переживают, но... положение сложное, враг жестокий, коварный, и бороться с ним в белых перчатках трудновато... Виталий Витальевич - заведующий хозяйством.

В его власти нанимать и увольнять рабочих. Вместе с тем он вроде начальника подпольного штаба и руководителя крупной, по их масштабам, партизанской базы. В окрестных районах

действует уже десятка полтора партизанских групп под общим названием "Молния". А чуть дальше, за Подлесным, в Зеленой Бrame, базируется партизанский отряд "Молния". У Виталия Витальевича осуществляется связь между группами, концентрируются данные разведки, координируются иногда и боевые и диверсионные операции, печатаются листовки. Опять же и материальные резервы... Одним словом, действуют как могут и умеют. Хотя связь с Большой землей не налажена, информация случайная, опыт обретают из практики, вслепую.

Есть много горячих голов, а опытных руководителей маловато. Не хватает, в сущности вовсе нет, взрывчатки, оружия, боеприпасов, только разве что от немцев перепадет.

- Но, как и в той пословице, - просветлело лицо Виталия Витальевича, казак не без счастья, а девка не без доли. Мы вот только мечтать могли о вашем появлении.

Человека с Большой, свободной земли два года в глаза не видели. А тут вдруг вы, как манна небесная голодному или вода жаждущему! Не отпустим вас ни за что, и не думайте! А девушку вашу, не беспокойтесь, разыщем, обязательно разыщем. Только условие. За это вы первую радиogramму на Большую землю шлете от нашего имени.

Будем настоятельно просить, чтобы вас тут и оставили.

Помогайте, организовывайте, командуйте.

А возможностей и хороших людей у нас хватит!

Виталий Витальевич был так обрадован и взволнован, что и меня растрогал и взволновал. Хотя мне радоваться было нечему. Скорее, наоборот. Вот он говорит о первой радиogramме, о нашей девушке... А где она, наша девушка, наша Настя? Может, уже и в живых ее нет. Мы втроем нашли убежище, защиту, связи, а остальные наши товарищи? Даже представить трудно, где они сейчас могут быть. И что мы сейчас без них, без всей группы? Без Лутакова, без Насти, без ее рации. Все равно как глухие и немые! На нас такие надежды возлагают, от нас так много ждут, а мы... Да таких, с голыми руками, и без нас тут достаточно! С плохо скрываемой горечью слушал я хорошего, взволнованного человека - Виталия Витальевича.

А вокруг все тихое такое, ласковое! Пчелы звенят. Неважно, что в ульях, кроме меда, шрифты, листовки, оружие. Яблоки пахнут. Девчата на грядке красные помидоры собирают. Стройный молодой "полицай" золотистого коня выгуливает... А от пруда по тропинке кто-то в одних трусах, коренастый такой, прямо квадратный, направляется к нам. Курортник, да и только!.. Однако погоди, погоди. Какая знакомая фигура! Кого же мне этот крепыш, этот "курортник" со стриженной головой, напоминает? Так

похож... на кого-то... знакомого!

- Виталий Витальевич, кто это там? Тоже "полицай" или...

- Где? Этот? Одного новенького я нанял, - Виталий Витальевич широко улыбается. - Говорит, будто в пчелах отлично разбирается.

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ СЕМЕН ЛУТАКОВ

Настроение у него испортилось, еще когда он застрял в бомбовом люке. Понял, что кучность прыжка безнадежно нарушена, и его отнесет далеко от товарищей. На какое расстояние, сказать трудно, однако лишней мороки не избежать - это абсолютно ясно. Неудача с первого же шага. И неудача именно с ним...

Семен Лутаков был человеком впечатлительным.

Даже слишком впечатлительным. Хотя постороннему и в голову не пришло бы, что за типично крестьянской внешностью скрывается тонкая, легко ранимая натура.

Настроение у него могло изменяться мгновенно от малейшего, почти не приметного для других раздражения. Когда же огорчение, которое причиняли ему люди, обстоятельства или же он сам, было особенно сильным, оно почему-то тянуло за собой воспоминания обо всех предыдущих неудачах. И "настроение падало ниже нуля" или "с самого дна души всплывали на поверхность давнишние утопленники", как он любил говорить в такие минуты. Он умел скрывать свои настроения, подавлять их силой воли, зажимать в кулак. И естественно, что никто из знакомых, включая даже самых близких товарищей, ничего об этих "нулях" и "утопленниках" не знал и даже не догадывался. Иногда он казался им просто толстокожим. Глядя на его приземистую, коренастую, почти квадратную фигуру, сильные руки, энергично посаженную на мускулистую шею круглую, коротко стриженную голову, простые и грубоватые черты лица, действительно можно было поверить, что парня ничем не прошибешь. Даже из пушки, как выразился однажды любимец девушек студент Яков с ветеринарного факультета. Вот только его глаза, небольшие, но удивительно синие... Да кто к этим глазам будет присматриваться? Была, правда, одна... А может, и сейчас где-нибудь есть... Только где-то невероятно и недостижимо далеко.

...А тем временем его кто-то сверху пихает, протискивает в люк. "Штурман, наверное", - думает Лутаков, и от одной мысли, что все товарищи давно выбросились и уже на земле, у него становится на душе горько: значит, теперь он останется один, оторванный от своих... Ищи тогда ветра в поле! А еще начальник

штаба! Кто-то держит его за плечи, кто-то больно нажимает на подбородок, что-то острое вонзается в бок... Он и сам изгибается всем телом, дергает плечом и... приходит в себя после резкого рывка. Парашют раскрылся так внезапно, что Семен впоследствии не мог даже вспомнить, произошло ли это автоматически или же он сам непроизвольно рванул за кольцо. Ведь все складывалось так непредвиденно! "Фактура"

у него дай боже, а тут еще и довольно увесистый пакет с батареями для радиации!.. Нужно же было, чтобы именно он взял их! Что они будут делать без батарей, ежели... А пока он висит под белым шатром в воздухе. Светит вровень с его лицом полная луна. Под ногами серебристо-синеватый плотный сумрак. И летят ему навстречу какие-то огни. Костры? Сигнал? Пожар? Огни все приближаются.

Мерцают тревожно, растут, летят навстречу и вместе с тем куда-то в сторону. Так, будто он стоит на месте, а это загадочное пламя несется мимо него... Все внимание Семена сосредоточено сейчас на этом ночном пламени.

И только когда сапоги касаются земли, Семен возвращается к действительности.

Приземлился легко, привычно. Лишь чуточку качнулся и сразу же твердо стал на ноги. И тотчас - безветренно! - белыми волнами опустил возле него парашют.

Удачно, ничего не скажешь! Семен еще со студенческих, невероятно далеких теперь времен полюбил парашютный спорт после первого же прыжка с осоавиахимовской вышки. Хотя всю прелесть его почувствовал, когда несколько раз прыгнул уже с самолета...

Лет пять с огромным увлечением занимался он парашютным спортом. И с каждым прыжком заново переживал, заново смаковал каждую неповторимую минуту полета и ощущение собственного тела в безбрежном воздушном океане. И только сегодня было не до этого. Приземлился почти бессознательно, механически. Все внимание было устремлено на другое: где свои? Где враги?

Остро и знакомо пахнет полынью и чабрецом. Вокруг ни своих, ни чужих. Ясная лунная ночь. Степное раздолье.

Пологий, прорезанный мелкими и глубокими буераками, давным-давно не тревоженный плугом целинный косогор. Выжженный солнцем сухой бурьян, чертополох, травы. Внизу неширокая извилистая долина плавно изгибается, скрываясь где-то за холмами. Кое-где темнеют кустик, одинокая верба. Между кустиками зеркально посверкивают тихие озерки... Речушка? Наверное, речушка.

На самом гребне холма на четком горизонте, совсем близко, мерцают, трепещут красными крылышками огни... Теперь они уже не похожи на обыкновенные костры. Кажется, все-таки это пожар. С того, противоположного края долины, от огней, Семена никто не увидит. Но если кто-нибудь есть там, за спиной? Видно же вокруг, вероятно, на много километров...

Семен тащит парашют к ближайшему углублению, и потревоженная полынь пахнет еще сильнее, еще приятнее, напоминая о чем-то очень родном. И вся эта долина, речушка, буераки, как мучительно пробуждают они в нем что-то давно забытое! На дне такой лощины земля должна быть влажной, а под сапогами будет ощущаться сыпучая, с мелкими камешками дресва. Так оно и есть...

А ближе к пойме в тени глинистого обрыва должны расти бузина, стрекучая крапива и какиш. Так в далеком детстве называли они хрупкий съедобный молочай - круглые высокие стебли с темно-зелеными, похожими на крылья летучей мыши листиками...

Как же все это напоминает ему... Нет, в самом деле, как все похоже, невероятно похоже! Кажется, стоит пройти в ту сторону, за тот вон холмик, и сразу же откроются обрыв, глубокий овраг. А на самой вершине на меже (туда отец годами выносил со своего участка и складывал в кучу камни) куст шиповника... Это поле Семен помнил с тех пор, как стал себя сознавать... По крайней мере, с двадцатого года. И смотрел он на все это, по крайней мере, до тридцатого.

И нужно же было случиться так, чтобы эта узенькая песчаная, усеянная меленькими и плоскими, будто отшлифованными камнями, еще дедовская или прадедовская, нивка снова досталась отцу в момент великого земельного передела в конце гражданской войны.

Каждую весну этот целинный склон, который, казалось, никогда и не вспахивался, вспыхивал красными петушками. А вся балка с весны до осени покрыта была синими васильками, голубыми Петровыми батогами, а ниже, на влажном дне яра, буйно перло из земли множество всякого лапчатого зелья...

Летом в двадцать первом голодном году на этой песчаной нивке, на склоне, обращенном к солнцу, раньше всего, намного раньше, чем рожь, вроде бы даже в июне, созрел, побелел редковатый ячмень. И они чуть ли не первыми в селе испекли из нового в том году урожая темные рассыпчатые ячменные лепешки.

В те годы распахивали все, что только поддавалось распашке. Внизу по обоим берегам речушки зеленели левады и огороды,

засаженные капустой, огурцами, тыквой и коноплей. Только самые крутые склоны, бугры, яры и обрывы оставались на все длинное лето пастухам. Бедные, выгорающие на летнем солнце сельские пастбища...

И все же приволье, раздолье, счастливое и солнечное детство для малышни. Почти десять самых лучших весен и лет своего детства беззаботно провел Семен на таких вот, как сейчас перед ним, Буграх.

Бугры пустели только поздней осенью, когда пастухи уже не выгоняли туда скот. Но безлюдно и пустынно было здесь не так уж и долго, до первых красных петушков, как тогда говорили...

В один из летних дней во время жатвы Семен увязался на Бугры за старшим братом Петром. А был он тогда еще совсем малым, даже и пастухом самостоятельным не успел еще стать. Бугры были от села примерно в семи километрах. Однако Петро, вообще очень строгий двенадцатилетний пастух, на этот раз смиростивился над Семеном и взял с собой, вырвав наперед твердое обещание слушаться и заворачивать корову. У них тогда в хозяйстве не было ни лошадей, ни другой скотины, одна только длиннорогая корова Лыска. Там, на Буграх, и захватил их памятный ливень с градом. Дождь лил как из ведра не меньше часа. А потом ударил град. Шел недолго, какихнибудь пять-шесть минут. Но и от этого все поле вдруг стало белым, как зимой. К тому же градины летели с голубиное, а то и с куриное яйцо. Во всех селах окрест побило стекла в окнах. Об этом граде у них вспоминали часто даже много лет спустя.

А у братьев в тот момент всего и укрытия-то было что старый домотканый мешок. Петро положил Семена в межу под куст шиповника, сам упал на него сверху и прикрылся мешком.

Когда дождь и град затихли и стало после этого очень холодно, промокшие до нитки, продрогшие и напуганные мальчишки погнали корову домой. Как только выбрались с Бугров на жабовскую дорогу, встретили отца. Он, встревоженный и напуганный, спешил им навстречу, неся свою старую свитку и сухие сорочки...

Именно после этого града, примерно через неделю, направляясь в поле, отец прихватил с собой две лопаты:

обыкновенную и кривую. Снял аккуратными пластами с косогора против их надела несколько метров зеленого дерна и вырыл на этом месте прямоугольную ямку. Потом выложил из заготовленного дерна боковые стены, забил впереди столбик, закрепил перекладину, поставил несколько поперечных досок, покрыл их лозняком, соломой, присыпал землей, сверху покрыл дерном, и вышла землянка хоть куда. И для укрытия от всякой

непогоды и так вообще, забава и радость для всех пастушков. Несколько лет была эта землянка для Семена и Петра чуть ли не роднее родной хаты.

Поддерживали ее пастухи и потом, уже после организации колхозов, когда земля была обобществлена, а Семен с Петром подросли и, собственно, на Буграх уже и не бывали...

Как же ярко вспомнил все это за один миг старший лейтенант, взглянув на эту степь, долину, на эти голые целинные бугры! Так и встало все перед глазами, будто вчера происходило. Даже досаду неудачи немного пригасило. Аромат чабреца и запах степной полыни! Они словно дразнили его, очаровывали, подталкивали: иди скорее вот туда, поторопись! Пересеки этот бугор, и, быть может, в самом деле произойдет чудо! Перед взором твоим откроется знакомый овраг, стремительный обрыв и быть может - кто его знает! - ты встретишь там не только тень своего детства, но и кого-нибудь из своих товарищей. Да и все равно, где-то нужно найти надежное укрытие для парашюта.

И он идет... Шуршит под ногами сухая трава, скачут, разбрызгиваются во все стороны из-под сапог мириады кузнечиков. Семен перескакивает через ручеек, поднимается на гребень ближайшего бугра, и перед ним в волшебном-изменчивом лунном свете открывается пологий яр.

Ниже переходит он в обрыв. А наверху темнеет что-то похожее на куст... Да, так и есть! И когда наэлектризованный этим видением Семен почти бегом приблизился к кусту, он оказался шиповником! Правда, вроде бы чуточку ниже того, из его детства, хотя и более пышный, разросшийся, густо усеянный ягодами...

Удивительное, потрясающее сходство! Удивительное, потрясающее совпадение! Спина Семена покрывается мурашками. В голове туманится... Сразу же за кустом среди ровного сухого поля возвышается еще один, намного ниже куст бурьяна. И уже словно в каком-то затмении или во сне Семен тычет сапогом в этот куст... Заросшая сухой лебедой и чертополохом кучка камней... Может, у него и в самом деле что-нибудь с головой? Может, лунная болезнь или еще какая-нибудь чертовщина?

И уже будучи не в силах удержаться, цепenea от невероятного, странного предчувствия, он решительно направляется вниз, шагая по тропинке, которая бог весть когда и неизвестно чьими ногами протоптана. Шаг, два...

десять... и с каждым шагом спуск становится все круче, а склоны оврага стремительнее...

Над головой суживается полоска звездного неба. И луна скрылась за холмом. Тропинка берет круто вправо.

И сразу же за поворотом снова открывается луна, а на крутом, будто нарочно ровно срезанном склоне бросается в глаза темный прямоугольник...

Да, старая, давнишняя яма. Из нее густо поднимаются вверх лебеда, чертополох, чернобыльник, конский щавель и еще какие-то травы. Темный, будто специально высаженный на ровном склоне прямоугольник бурьянов.

И возле этого прямоугольника его вдруг озаряет догадка!

Семен останавливается. Он возле землянки своего детства. Самое страшное - вот оно, только теперь! Как, почему очутился он здесь, на расстоянии добрых полутора-два километра от того места, куда направлялся? И если это правда, если... Невыносимо тяжкий груз опускается Семену на плечи. "Подумать только, как же мне не повезло! Ну почему я такой несчастливый? Ведь не в первый раз со мной такое... Ну, пускай не совсем такое, но в целом... Есть ли где-нибудь на свете более бесталанное существо!.." Семен Лутаков, агроном, парашютист и начальник штаба, устало опускается на землю, где отшумело, отгудело, отбегало его нелегкое и все же веселое детство...

Настроение ниже, гораздо ниже нуля... И с самого дна взбудораженной потрясением души всплывают на поверхность все до единого, какие только утонули там, "утопленники"...

Всегда с ним так... Еще когда, закончив сельскую семилетку, был он секретарем комсомольской организации, мечтал пойти непременно только в авиацию. Тогда колхозы делали первые свои шаги, жили подчас очень трудно, а то и голодно. И райком комсомола почти в приказном порядке направил его в сельскохозяйственный техникум... А потом, уже значительно позже, проходя в институте высшую вневоинскую подготовку, он опять попал на факультет, который осваивал не штурманскую (были в то время и такие) и даже не артиллерийскую, а именно пехотную, стрелковую премудрость. Тогда он взялся за парашютное дело в спортивном кружке Осоавиахима.

И что же? За год перед войной в летних лагерях дивизионная комиссия присвоила ему звание младшего лейтенанта. В июне сорок первого, наспех и досрочно сдав последний экзамен в институте, не подержав в руках долгожданного диплома, он направился добровольцем в военкомат.

Их город очень быстро, за несколько дней, превратился в прифронтовой, и в военкомате с младшим лейтенантом долго не возились. Выслушали его сообщение о том, что он-де парашютист, и немедленно отправили в маршевый, уже действующий полк командиром... стрелкового взвода.

Два года суровых военных испытаний. Тяжелое ранение, два новых кубика в петлице и должность "адъютанта старшего" - то есть начальника штаба батальона. Сталинград, Дон, Донбасс... И наконец, когда он уже совсем и не мечтал об этом, ему приказывают отобрать в батальоне несколько добровольцев в десантники... И ошеломляющая встреча с отцовским полем, и Семен не знает, как ему быть, с чего начинать.

Огромная луна, вдоволь насмотревшись на обескураженного

Семена, наконец будто бы узнала в этом парашютисте знакомого пастушонка и постепенно начала сползать вниз. До захода, правда, еще далеко, но здесь, в овраге, темные тени удлинятся, становятся гуще. "До утра уже совсем недалеко, а я все здесь, - думает Семен. - Нужно что-то делать. Во-первых, с парашютом..."

И потом, быть может, в этих оврагах ещё кто-нибудь есть. Может, притаился кто-нибудь из своих и выжидает?"

Семен нащупывает в кармане гимнастерки свисток и не спеша, нехотя дует: "Пить-пить!"

Вокруг немая тишина. Даже кузнечики умолкли - время позднее. "Да, думает Семен, - конечно, была минута-другая задержки. Да еще и высота... Ясно, отнесло, возможно, и на десяток километров. О чем только думал этот олух штурман!" Но разве Семену теперь не все равно? Теперь думать - и хорошенько думать! - нужно ему, Семену Лутакову, пастуху из села Паланка Терногородского района, начальнику штаба десантной организационно-партизанской группы, старшему лейтенанту...

Еще некоторое время он сидит, стараясь овладеть собой, перебороть вялость и болезненную усталость во всем теле.

Обдумывая все случившееся, он машинально ощупывает сухую траву. Под руку попадают мягкие, гладенькие стебли, короткие, с похожими на крылышки летучей мыши листиками... Он! Свидетель и друг детских лет сладкий молочай, какиш!

Когда-то, в те далекие-далекие теперь и такие, кажется, всегда солнечные годы, они, пастушата, каждый день носились оживленными стайками по этим буграм.

Энергичные, подвижные, веселые и шумные, были они почти всегда голодными, как волчата. И набрасывались, как прожорливая саранча, на все, что было хотя бы чуточку съедобным. Ели все: зеленый терен, недозревшие ягоды шиповника, щавель, паслен и желтые продолговатые ягоды дерезы. Высасывали также крохотные и сладкие цветочки белены, грызли молодыми зубами этот вот какиш...

Семен сжимает в пальцах тугой стебелек и, напрягая руку (кожица у этого растения крепкая, жилистая), ломает его у самого корня. Привычно, будто все это было только вчера, счищает мягкие, листики, потом старательно и осторожно обдирает жесткую кожуру, а мягкую скользковатую сердцевину, из которой на руки брызжет сок, некоторое время раскатывает, будто тесто, в ладонях...

Пастушата всегда так делали, чтобы отошел, откачался горьковатый, невкусный сок и стебель стал вполне съедобным. Раскатывали и обязательно напевали при этом:

Качай молочай,

Та в вино умочай,
А з вина та в г...
Щоб солодше було!

Этот ритуал был строго обязателен. Считалось, что без этих слов какиш останется горьким и невкусным.

Семен и сейчас, раскатывая хрупкий стебелек, про себя повторяет эту припевку и даже слабо улыбается, а потом кладет обработанный стебелек в рот, стискивает зубами хрупкую, прохладно-водянистую массу и... Нет, не холодноватый, еле уловимый солоновато-горький привкус стебля ощущает он. Где там! Рот его полон хмельного, волнующего и пахучего детства.

Подобное радостное и тревожное ощущение бывало у него и раньше. Соберет, бывало, за городом горсть земляники, купит бумажный кулечек смородины или же вонзится зубами в сочную грушу, и вдруг наплывают на него воспоминания неповторимого детства!.. Их вызывают не сладость груши, не нежный аромат земляники, не кисловатый вкус смородины, а что-то неуловимое, какие-то особенные, как бы никем не известные, лишь тобой в счастливую минуту уловленные ароматы...

Но сейчас, в эту немыслимую ночь, здесь, среди родных холмов, в этих сложных обстоятельствах... это была словно ослепительная вспышка в темноте!

"Стой, погоди! Опомнись, хлопче, ведь ты же дома.

У себя, на своей земле, и именно с этого и следует все начинать. Ты дома, Семен! И это твои холмы, твои овраги, твоя степь, твоя речушка со странным половецким названием. Это твоя полынь, твой шиповник, чабрец, молочай.., Вся твоя земля! И село, догорающее на горизонте, подожженное врагом, пришьельцем, - Солдатский поселок.., Ты дома, ты тут хозяин! И бояться должен кто-то совсем другой".

Всю душу перевернул ему этот "качай-молочай" его далекого детства. Прибавил сил, возвратил утраченное равновесие, возродил решительность и, самое главное, уверенность.

Да, это была его степь. С древних времен, испокон веков!

Испокон веков жили в этой степи люди, хотя и звалась она еще долгие времена Диким полем. Ютились по оврагам и долинам степных славянских рек Бугов, Синюх, Торговичек, Тикачей. И по совсем крохотным, от которых веяло еще половецким духом, по Кагарлыкам, Черным и Сухим Ташлыкам да Сугаклеям. Жили по хуторам, запорожским паланкам и зимовникам, а чуть дальше на север и большими селами. Поднимали целину, сеяли рожь, ячмень, гречиху и просо, ловили зверя и рыбу, защищали край земель славянских от наездов лютых кочевников, а потом ходили в понизовье Днепра, на Сечь,

воевали с турком, крымским ханом, панами польскими...

И вероятно, с тех пор, как живут здесь люди, жила среди них, то разрастаясь, то усыхая, семья какого-то Шульги - древнего-предревнего Семенова пращура. По всей вероятности, потомки Шульги из века в век сеяли здесь рожь, ходили на Запорожье, воевали с турком-басурманом, да и с кем только не воевали. А бывало, что и между собой до смертной гробовой доски сражались. Но мало-помалу, из века в век, из рода в род, заселяли, поднимали к жизни Дикое поле, превращая его в плодородную ниву, в край щедрый и богатый, и засеяли, залили его колосистым, буйным морем пшеницы, наполнили гулом железа и стали!..

И быть может, лет триста или двести назад пришел в эти края первый Лутаков. Кто он был, его второй прапрадед? Рваная Ноздря из отрядов Самозванца, Болотникова или Пугачева? Беглец крепостной от лютой неволи барской? Или же какой-нибудь потемкинский солдат-горемыка, который отслужил где-то здесь свои двадцать пять да, не имея ни кола ни двора, ни матери старенькой, ни жены молодой, осел на земле, которая приветливо встретила его и стала родной... Кто он был, откуда, когда и как пришел, разве теперь отгадаешь. Ни в книгах дворянских родов, ни в гербовниках боярских фамилий имя его не значилось. Да что там гербовники, метрик обыкновенных и тех не сохранилось! Да так ли уж это и важно?

Главное - был такой, пришел, появился, принес свое честное имя, и оно вот сохранилось, дошло до нас через сотни лет. И где-то он здесь поселился, жил, работал, женился, видно, на какой-то молодой степнячке из рода Шульги, и вдвоем они поставили глиняную хатенку, посадили вишневый сад в чистом поле. А может, был он уже пожилым человеком и пошел в примачи ко вдове, муж которой так и не вернулся из турецкого или какого-нибудь иного похода... Так или иначе, а пошла от них новая ветвь степная, соединив Лутаковых с Шульгами.

И пошла с тех пор и фамилия Лутаковых. Правда, только и всего, что фамилия, потому что дети их, как и все вокруг, разговаривали на языке матери. Да и отец быстро освоил этот язык. А уже во втором или третьем колене фамилия эта осталась только на бумаге, в поповских грамотках и списках воинских начальников. Давным-давно, с деда-прадеда окрестили их соседи-односельчане поуличному Латками. Латка да Латка! Гервасий Латка, Охрим Латка, Михаиле Латка и, наконец, Семен Латка...

То ли фамилию Лутаков на свой вкус подогнали соседи, то ли была еще какая-нибудь другая зацепка, в самом деле с латкой-заплаткой связанная, кто же теперь об этом ведает! А только

спросит кто-нибудь посторонний в селе про Лутакова, так никто и не вспомнит. А Латку, как же, все знают: вон там, на Кривой улице, возле самого обрыва, живет. Сам Семен только в школе с удивлением узнал, что фамилия у него была Лутаков.

И долго еще с непривычки забывал откликаться на эту фамилию.

...И вот он, Семен Лутаков - Латка, потомок и наследник многих поколений, идущих от Шульги и Лутакова, - дома! Слева, километрах в десяти или, быть может, чуть поближе, - Жабово, дорога на Новые Байраки. Прямо впереди догорает в ночной тишине Солдатский поселок.

Справа, примерно в пяти километрах, там, где половицкий Кагарлык устремляется к славянской Синюхе, - Шляховая. А рядом, каких-нибудь три километра в сторону, - Паланка. Его, Семеново, родное село. И всюду люди... Свои, хорошие, советские люди. Знакомые, соседи, товарищи, друзья, далекие и близкие родственники, родня! И хотя они сейчас в тяжелой неволе и лютая смерть здесь, в далеком тылу, как и на фронте, каждый день заглядывает им в глаза, все равно Семен твердо убежден:

никаких "белых пятен" на самом деле не существует.

Семен среди своих, и он знает, что делать. Он должен добраться до родного дома и уже вместе с близкими начать поиски товарищей и налаживать работу, ради которой его и посылали во вражеский тыл. Он должен немедленно увидеть маму. Маму, которую он не видел вот уже три года и ровно два года не имел от нее никакой весточки.

Семен укладывает на дно рва парашют, потом, подумав, и мешок с вещами, присыпает все это сверху дрсевой, глиной и камнями, маскирует сверху сучьями да сухим бурьяном, и вот он уже готов. Руки развязаны, лишний груз припрятан, при себе оставлены лишь оружие и сверток с питанием для рации...

Рассвет застает Семена уже возле Шляховой, в устье речушки. День он переживает в подсолнухах. А как только начало смеркаться, сразу отправляется в дорогу и через каких-нибудь два часа, последив еще какое-то время за родным подворьем с соседского огорода, заглядывает в угловое окошко родной хаты... Только руку заносит, чтобы постучать, как вдруг так вот, с занесенной рукой, замирает, напуганный тревожной мыслью: "А что я скажу маме, когда она спросит про Петра? Как я смогу ей это сказать?"

В последний раз Семен был дома летом сорокового года, после окончания четвертого курса. Пробыл в селе почти два месяца и выехал из дому (он почему-то хорошо запомнил это) двадцать восьмого августа. Из МТС на станцию как раз шла

грузовая машина. Провожал его Петро.

Зимой Петра брали на финскую. Возвратился он оттуда в марте, живой и невредимый. Только поморозил пальцы на левой ноге, и они долго не заживали. Даже еще и тогда, в августе, брат слегка прихрамывал. Работал он в своей же МТС трактористом. Пока машину готовили в дорогу, на улице у ворот собралось несколько знакомых хлопцев. Стояли возле буфета, пили пиво, угощали Семена, перекидывались словцом с молоденькой остроглазой продавщицей Матюшенковой Любкой. Девушка быстро, умело орудовала кружками, отшучивалась, а сама время от времени - Семен заметил это - стреляла быстрыми карими глазами на Петра.

Петро стоял немного в сторонке, стройный, высокий, красивый, и, казалось, вовсе не замечал ее взглядов...

А Семен, удавшийся в мамин, шульговский, приземистый, род, малость даже завидовал Петру, вспомнив, как мама однажды упрекала старшего сына: "Когда уж ты, Петро, женишься? Хочь иметь невестку в помощь и внука на радость".

Семен вспомнил об этом там, возле буфета, и тоже спросил: "А в самом деле, Петро, пора бы уж тебе и, же,:

ниться". - "И ты туда же! - как-то вяло улыбнулся Петро. - Хватит того, что мама... - г И добавил: - Да и невеста моя еще не подросла". - "А ты, пока подрастет, бери Любку! Видишь, как она стреляет глазами в твою сторону". - "Э"! - отмахнулся Петро и смутился, как девушка, у него даже уши покраснели.

Вот такой была у них с братом последняя домашняя беседа...

В первые недели войны, уже из армии, Семен написал домой одно, а потом и второе письмо. Однако ответа не получил. Примерно в конце июля всякая связь с родными прервалась. Родное село оказалось за линией фронта, на оккупированной территории. И эта временная оккупация тянулась вот уже ровно два года.

Прошлой зимой, после Сталинградского котла, дивизия, в которой служил Семен, с боями продвигалась вперед через заснеженные просторы донских степей, приближаясь к границам Украины. Ясным зимним днем Семен, задержавшись по каким-то делам при штабе, догонял свой батальон на попутных машинах. Снега выпали тогда глубокие, морозы стояли лютые. Дороги были перепаханы бомбами и снарядами, устланы трупами вражеских солдат, забиты сломанной и сгоревшей техникой.

Какой-то молоденький ефрейтор в засаленном белом полушубке провез его с десятков километров на легком зеленом "бобике", вытряхнув на мерзлых ухабах и проморозив на пронзительном ветру всю душу. Потом остановился неожиданно

и объявил: "Конец, лейтенант, приехали!"

Мне сюда. А ты пойдешь в село. Тут, видимо, есть какой-нибудь КП. Глядишь, может, и повезет".

Машина стояла на ровном месте. Никакого села Семен не видел. Только, хорошенько присмотревшись, заметил, что от села остались одна табличка, припорошенные снегом бугорки и кучи обгоревшего железного лома.

Семен сделал несколько шагов, обходя это покоренное железо, идя вдоль того хаоса, который вроде бы должен был быть раньше дорогой или даже улицей, и впереди в балочке увидел обоз крытых брезентом грузовых машин. Они, кажется, только что остановились. Из кабин на снег повыскакивали водители, разминаясь и закуривая, сбивались в кружки.

"Куда машины?" - подошел к ближайшей группе Семен.

"А тебе, лейтенант, куда нужно?" - прикуривая толстенную рыжую трофейную сигару, вопросом на вопрос ответил низенький солдат в длинном расстегнутом кожаном и больших новеньких валенках.

"Туда", - махнул рукой в заснеженную степь Семен.

"А мы как раз именно оттуда... Жаль, сватами не будем. На вот, хоть закури с горя немецкий гостинец. Сам фон Паулюс угощал", - достал он из объемистого деревянного ящичка еще одну сигару.

"Благодарю, я, брат, непьющий с детства", - отшутился в свою очередь и Лутаков. И не успел еще отойти, как вслед за ним бросился высокий парень в тугих новеньких ремнях и с желтой кобурой поверх щегольского полушубка, с сержантскими погонами на плечах.

"Семен! Семен, эй, слышь! Семен, подожди!"

Семен сразу даже не сообразил, что это окликают его.

Отвык уже от такой формы обращения. Когда же, наконец, оглянулся, увидел: к нему бежит высокий, совершенно незнакомый человек со смолисто-черными усами на молодом, обветренном лице.

Не останавливаясь, налетел он на Семена, сгреб, смял длинными сильными руками, прижал к груди, оторвал от земли, крутанулся вместе с ним, снова поставил на снег.

"Мать родная, ей-богу, это ты, Семен! Ты или не ты?"

"Да я! - крикнул в ответ Семен, с трудом сдерживая слезы. Из-за этих проклятых усов он не мог узнать Петра, только по голосу догадался, что это он. - И откуда ты их взял?!"

"Кого?"

"Да усы же!"

"Тю! А я думаю... Еще с прошлой зимы. Привык уже.

Вроде бы не так губы мерзнут. Да и носу теплее".

Какое-то мгновение они стояли молча, похлопывая друг друга по плечу и осматривая сияющими, влажными от волнения глазами.

"Петро..."

"Семен..."

"И скажи ты... Нужно же, чтобы вот так, а?!"

"Вот и я говорю!"

Все это было таким неожиданным, ошеломляюще радостным, почти невероятным! Хотелось так много сказать друг другу, что в груди распирало, перехватывало в горле и словно совсем не было слов. Стояли оба бледные, широко улыбались - улыбки эти, казалось, вот-вот перейдут в слезы - и только помаргивали глазами.

"Семен!"

"Петро!"

"Вот это да!"

"Как ты, Семен?"

"Да вот, как видишь. Живой. А ты?"

"И я".

"Ну, а как же там... Как же там наша старенькая?" - совсем растерявшись, забыв обо всем, спросил Семен.

"А что там... - так же машинально начал было Петро.

И вдруг спохватился. Закончил тихим, грустным голосом: - Будем надеяться на лучшее. Может, как-нибудь и там все обойдется. Я же, Семен, знаешь, когда последний раз был дома? Второго июля, в сорок первом..."

А вдоль колонны от группы к группе уже летело возбужденное:

"Сержант Лутаков брата встретил... Сержант Лутаков родного брата встретил".

И кто им только сказал, что именно брата? Само оно в воздухе разлетелось или еще как? И уже кто-то отвинчивал крышечку баклажки, наливая в нее крутой донской самогон, а кто-то предлагал - как-никак, а такая встреча! - чистого спирта. А кто-то уже нарезал ломтиками мерзлое розовое сало. И встреча эта, оказывается, стала праздником не только для братьев... Каждый хотел хоть как-нибудь, хоть чем-нибудь участвовать в нем, прикоснуться душой, получить свой паек душевного тепла и внести свой взнос в такое радостное событие...

Даже и не заметили сразу, как где-то в голове колонны прозвучала команда трогаться.

"Семен, пиши! Обязательно пиши, не ленись", - уже нащупывая валенком ступеньку кабины, наказывал Петро.

"Да подожди! - спохватился Семен. - Куда же "пиши"?.. Глупые мы с тобой. О самом главном забыли!"

И лишь после этого обменялись номерами полевой почты, записав их на обрывках бумаги и завинтив в солдатские "смертные" медальоны.

"Ну, будь здоров, Семен!"

"Будь здоров и ты, Петро!"

Петро прислонился к щеке Семена своими теплыми и мягкими, будто детский чубчик, усами. А потом, уже высунувшись из кабины, на ходу повторил:

"Будь здоров, Семен! Теперь уже, видно, дома встретимся!"

"В Берлине, Петро!"

Минуту-другую Семен шагал еще рядом с машиной, потом следом за нею, а потом остановился...

До весны Семен получил от брата четыре письма-треугольничка. Писал ему и сам. А вот встречаться им больше не пришлось. Да уж и не придется. Никогда. Около двух месяцев не было от Петра ни слова. А потом вдруг пришло извещение. Где-то в районе Барвенкова... при выполнении важного задания...

Не дождется уже мама ни невестки, ни внука от Петра. И что же он, Семен, ей теперь скажет? Как сможет сказать ей такое? "Нет! Ничего я сейчас ей не скажу!"

Не видел Петра, не встречал. Пускай уж потом... Тогда вместе с победой... хотя и не легче, но все же... все же както не так..."

Когда Семен постучал в угловое окошко, а потом подошел к двери, потрогал за щеколду, мать тотчас же смело отодвинула засов. И спросила: "Кто там?" - уже после того, как дверь была открыта.

- Да тут к вам из Терногородки... Дело есть, ежели в хату пустите.

Она переждала минуту-другую. Помолчала как-то особенно, многозначительно. Не испуганно, не настороженно, а как-то иначе. А потом сказала совсем тихо:

- А почему же... заходите!.. Если с добром, то почему же...

Темные, до мельчайших подробностей знакомые сени, темная большая комната. За печью, за дверцей, задернутой одеялом, еле-еле заметная полоска света...

Мама снова заперла дверь. Войдя в комнату, спросила;

- А кто же вы, если из Терногородки, будете?

- Да, правду говоря, не тамошний... так...

- Ну, а ко мне кто же послал? Не Роман ли случайно?

- Да, может, и он...

Семену казалось, что мама говорила вроде бы с не-

которым намеком или со скрытой улыбкой. Только в темноте

он этого не видел. А когда провела его за печку, в освещенную кухню, стала спиной к старой, еще дедовской печи, лицом к неизвестному гостю, ее глаза, большие, темно-синие, как сливы, на какой-то миг стали словно бы еще больше. На один лишь миг. Потому что в следующий они уже скрылись за молодыми пушистыми ресницами.

- Господи! Чужало же мое сердце!

- Что чужало, мама?

- Так я и гнала!

- Что?

- А что это не иначе, как ты. Господи, сынок!.. Да тут же из-за тебя все вверх тормашками переворачивают!..

- Но почему же именно из-за меня?

- Ну, а из-за кого же еще? Как услышала я вчера об этом парашюте, так и подумала: "Не иначе, как он, Семен мой! Знаю я его, разбойника!.."

Она произнесла эти слова сдержанным и казалось даже спокойным шепотом, а сама тем временем шла к нему от печи нерешительными, шаткими шагами.

А он стоял оторопело на своем месте, и сердце у него вроде бы на куски разрывалось.

Мама - низенькая, сухощавая, непоседливая и острая на язык. Потому-то, видать, и родичи и соседи не Оленой и даже не Еленой, а лишь Ялынккой [Ялынка - елочка (укр.)] зовут. Только раньше была она Ялынккой по фамилии Шульга, а теперь Ялынка Латкина.

Словно бы и не очень, не сильно изменилась... Разве только похудела, осунулась, да голова... голова у нее стала белой как снег. А ведь мама совсем еще не старая!

Какая старость! Год или два за полсотни. Вот и все. Разве это старость? Тем более что и живость и характер, унаследованные от рода Шульги, так и остались ее, мамини...

Упала ему на грудь и разрыдалась. Беззвучно плакала, вздрагивая узенькими плечами, и, видно было, пыталась сдержать эту дрожь... И сдержала все-таки, оторвала лицо от груди сына и заглянула ему в глаза заплаканными, счастливыми, сияющими глазами.

- А тебя, сынок, никто не заметил? Как ты думаешь?

- Я, мама, осторожно, - уже не таился, не мог таиться Семен. - Я, мама, за грушей в саду Матюшенков часа два сидел... Тайком пробрался вдоль рва, от речки...

Видел, как вы за водой шли, потом фасоль вылучивали.

Будылья в хлев занесли...

Сжимал своей тяжелой рукой острые мамини плечики -

плотный, широкоплечий, приземистый - и чувствовал себя совсем мальчишкой.

- Пахнет от вас, мама, чем-то домашним... Таким вкусным-вкусным... ржаным...

- Ну да, - улыбнулась сквозь слезы мать, - чем же еще пахнуть? Сегодня моя очередь на жернова... Да я целехонький день того... целую макитру жита перетерла!

Ну а ты, Семен, надолго ли?..

- Не знаю, мама...

- А не страшно тебе?

- Что, мама?

- Ну, прыгать... Хотя ты, правда, уже привычный, но тогда же было по-другому...

- Теперь мне, мама, ничего не страшно... Только, знаете, мама... Никто, конечно, обо мне тут и не думает. Следовательно, и нет меня здесь. А дядька Роман, выходит, дома? Тут, в Терногородке?

И вдруг, не дожидаясь ответа, только теперь спохватившись, восклицает:

- Подождите, подождите, мама... А вы о каком таком парашюте слышали?

- Ну как же "о каком"?.. За Подлесным, возле Зеленой Браны, на дубу немцы вчера парашют нашли!

... - Ну, как же вы, мама, здесь живете?

Они сидят в кухоньке за низеньким столиком, ужинают - черствые, с отрубями ржаные лепешки, картофельный суп с фасолью, тыквенная каша. Семен расстегнул свою зеленую стеганку и пилотку снял. Автомат - рядом, на табуретке, пистолет и гранаты на поясе. Сверток с батареями возле правой ноги.

Ужинает, собственно, он один. А мать, подперев щеку сухим кулачком, всматривается неотрывно и жадно в сына. Не пропускает ни одного его движения.

Услышав вопрос, отвечает не сразу. Сидит какую-то минутку молча, словно бы обдумывая ответ, и лишь после этого тихо произносит:

- Да... какая там жизнь, сынок. Живу, как горох при дороге!

Мама без присказки не может. А раньше, молодая, еще и петь любила. Шьет что-нибудь - поет; на огороде - поет; прядет - снова поет. Только после того, как отца в тридцатом убитым с поля привезли, умолкла. Беда случилась вечером, когда возвращался он из Терногородки, из района... В годы коллективизации был он председателем комбеда. Хлебозаготовки тогда очень туго, с криком да с кровью проходили. Отец тоже, когда нужно, проявлял крутой характер... Одним словом, созовская лошадка уже затемно

вернулась в село с пустой двуколкой, а отца нашли в Татарском яру... С тех пор Семен уже не слышал, чтобы мать когда-нибудь пела...

- Только мне-то, сыночек, - помолчав, продолжает мама, - мне еще неплохо, если правду сказать. А вот людям... Теперь, если какая женщина детей при себе не имеет или же и вовсе их не было, так это, считай, счастливая. Люди ей завидуют... Такая, сынок, жизнь пошла, такой страх божий, что хоть верь, хоть нет. Много лет на свете живу и от старых людей многое слыхала, но такого страха, такого светопреставления не видывала...

Не люди они, скажу я тебе, Семен, а ироды какие-то, упыри. Осенью в сорок первом во время дождей по грязи согнали в коровники людей видимо-невидимо. А потом... И рассказывать страшно! Ну пускай бы мужчин, раз уж война... А то ведь дети, старики... Три ночи над Тузовым обрывом трещало... Весь ров, говорят, мертвыми завалили. Младенцев неповинных и тех... Так скажи, Семен, может их после этого земля на себе держать?

А потом как пошло с детьми... Видела однажды, как их из Терногородки вывозили... Посмотрел бы ты на матерей несчастных... Убиваются, вьются, как чайки... И слез уже не хватает. Такой ужас! Раз увидишь, жить не хочется... А каково матерям?

Не идет Семену в горло материн оккупационный черствый корж. А она рада, что сына видит, что есть с кем хоть душу отвести. Сыплет, как из большого мешка. Да все горькое-прегорькое, да одна новость страшнее другой... Как подпольщика в Терногородке вешали! И как Любка Матюшенкова обожгла себе чем-то лицо. Чтобы в Германию не взяли. Теперь и не узнаешь. Смотреть на девушку страшно. А Холоденков мальчишка удирает с дороги. Пожалуй, еще и семнадцати парнишке не было.

А его полицай - "свой", Никанор Побережный - наповал застрелил... И как Петриковку - немца там кто-то убил - дотла выжгли. А людей, кто из села вырвался, назад в огонь очередями из автоматов загоняли. А старого Назара Кумейко так избili, что богу душу на второй день отдал. А может, Семен помнит Кирилла Юшко, который бухгалтером в эмтээсе, так немцем себя, подлец, назвал и в "хвостдойчи" записался. Теперь в полиции секретарствует. А Стецюк - аблакатом был - так за начальника полиции в Терногородку пошел. "Молния", говорят, весной его убила. Нет, не грозовая. Есть тут, говорят, такие, "Молнией" себя называют. Очень их полицаи и немцы боятся! Провода немцам вроде бы рвут, бомбы подкладывают, "мотыльки" - листовки там разные...

Такое началось, что и сказать нельзя. Когда оно только

кончится. И высматриваем вас, высматриваем.

Староста у нас Гриць Кухта. Ну да, сынок того, раскулаченного. Откуда-то из Ростова, говорят, притащился.

Сначала был собака собакой. Каждый день в поле выгонял. Бил людей за каждую щепочку. А теперь побаивается. "Я, говорит, тетка Ялынка, знаю, что ваши сыновья там, а вот, видите же, ничего, молчу". Чтoб ты от огня заговорил!.. Да и с голоду я, как видишь, не пухну. Однаодинешенька. На огороде копаюсь, пока сила есть, с того и живу. И Роман, спасибо ему, подбросит что-нибудь,

не забывает. То зерна ведерку, то картошки. А однажды даже соли узелок...

- А он, дядька Роман, как?

- Да все там же, где и был, в эмтээсе.

- Работает, стало быть, на немца? - нарочно подчеркнул Семен. Интересно ему, что на это мама скажет,,

- Да оно, сынок, как в большинстве случаев все здесь... Работают. Что за неделю намолотят, то за день разнесут. Так и работают. Вроде бы и на немца, а если подумать, то на себя. Потому как недалеко немец на этой работе уедет... Только вот выпивать почему-то в последнее время начал Роман, говорят, частенько прикладывается. Раньше что-то я за ним такого не замечала,

- Повидаться бы мне с ним, мама...

- А что же. Нужно, так и встретитесь. Смело можешь встречаться. Не сумлевайся.

- А я и не сумлеваюсь, мама. А все же сделайте какнибудь так, чтобы он к нам зашел, заранее обо мне ничего не зная.

- Можно и так. Что же это я, сынок, все о своем да о своем. А ты мне так ничего о себе и не говоришь...

И еще долго, будто боясь оторваться и снова надолго потерять сына, рассказывала и расспрашивала. А вот о Петре так ничего и не спросила. Будто предчувствовала что-то недоброе и побоялась, раз уж он, Семен, сам об этом не говорит...

На следующий день утром мать заперла его в хате на замок и ушла в село расспросить у людей, не едет ли кто в Терногородку.

Вернулась часа через два. Похвалилась, что нашла такого человека. Дочь Поддубного из коровника молоко в район повезет. По дороге и в эмтээс забежит. А еще принесла мама ужасную новость: шепчутся всюду люди, передают друг другу, что новобайрацкий староста Макогон задержал где-то и выдал жандармам двух советских парашютистов...

...Шел селом вдоль улицы пьяный человек. Пошатывался, останавливался и снова шагал, время от времени даже пытаясь

запеть:

А сирі дрова не горять!..

А сирі дрова не горять!..

Побормочет, покачнется, умолкнет. Сделает несколько шагов и снова:

А сирі дрова не горять!..

Ничего странного в этом не было. Воскресенье. В Терногородке с утра был даже кое-какой базарчик.

Правда, полицаи по приказу жандарма, учитывая чрезвычайное положение, сразу же его разогнали. Но хватануть рюмку-другую первака ради воскресенья кое-кто все же успел.

А сирі дрова не горять!..

Мужчина был невысокого роста, широкоплечий. Черные штаны, заправленные в сапоги, белая сорочка навыпуск, подпоясанная ремешком. На голове артиллерийская, с черным околышем фуражка. Прихрамывает на левую ногу.

Попался навстречу мужчине полицай. Длинный, как жердь, спина дугой, щеки запавшие, в серой щетине, а синий шуцманский мундир на нем как на вешалке. Поравнялись. Полицай поздоровался, потом сказал:

- Весело тебе, Роман?

- А что?.. - пьяным голосом ответил мужчина. - Уж нельзя человеку у родной сестры и рюмку выпить?

И сразу же громко затынул:

А сирі дрова не горять!..

Полицай повернулся и пошел рядом. Даже слегка пьяного за локоток поддерживал.

Роман Шульга потому, собственно, и запел и покачиваться начал, что издалека заметил этого полицая.

В МТС, на работу, сегодня зашел он совсем случайно.

Собрался с утра поехать в Скальное за углем, но произошла заминка: оказалась незаправленной машина. А тут как раз зашла знакомая девушка из Паланки. Сестра прислала. Передала, дескать, тетка Ялынка, что она заболела и просила, чтобы Роман заглянул к ней сегодня непременно. Обязательно!.. Свою сестру Роман знал хорошо. Понимал, просто так она не будет беспокоить.

Либо в самом деле серьезно заболела, либо какая-нибудь другая неотложная причина. Поэтому в Скальное вместо себя послал старого Купку, сторожа, с шофером Попенко. На той же машине и сам подъехал чуть ли не до Паланки. Пешком прошел каких-нибудь два-три километра.

Ялынка встретила его на пороге сеней. Наверное, заметила в окно... На больную вроде бы не похожа.

Шульга не удивился: не больная, значит, есть у нее какое-нибудь серьезное дело.

Следом за сестрой Роман прошел в сени, шагнул через порог в комнату и остановился. В хате за столом сидел мужчина, удивительно похожий на самого Шульгу, только намного моложе. Был он в какой-то полувоенной одежде, но по фигуре... по фигуре они были похожи с Шульгой, как родные братья.

Роман Шульга стоял не здороваясь, пристально всматривался в этого человека.

- А что это вы на мне такое увидели, дядя Роман? - улыбнувшись, спросил Семен.

- Да... смотрю вот и думаю, что одного, кажется, я уже нашел.

- Что нашли? - удивился Семен.

- Да не "что", а кого!.. Парашютиста одного уже нашел.

- Какого парашютиста, дядя Роман? Что это вы с мамой будто сговорились, парашютисты вам все мерещатся!

А Шульга шагнул от порога и, расставив руки для объятий, сказал:

- Семен, ты лучше не прикидывайся простачком и не темни. Не будь хитрее попа.

Они поцеловались. Сели рядом на скамье.

- Ты, Ялынка, все-таки сядь у окна да на ворота поглядывай, - сказал Шульга, снимая фуражку и вытирая платком лоб. - Ну, так как же оно там, дорогой племянник?

- Да вроде бы не так плохо, дядя. А как вы?

- А я что, живу вот куда. Можно даже сказать, весело живу. Хлопот хватает. Вот и теперь. Дан повсеместный приказ - разыскать во что бы то ни стало вашего брата. А мы не знаем даже, сколько вас там.

- А кто же отдал такой приказ? - Семен решил пока не опровергать свою причастность к парашютистам.

- Да есть тут кому... Всем бы хотелось вас разыскать. И полицаи всюду рыскают, и мы шуруем. Ну, а вот повезло, кажется, мне. Нашел ниточку к клубочку.

- А что же говорят об этих парашютистах? - снова уклонился Семен.

- Говорят... говорят... Что кому в голову взбредет, то и болтают, а я знаю только одно.

- Что же вы знаете?

Мать тем временем принесла кусок старого сала, соленые огурцы и ржаную лепешку, поставила на стол бутылку с сизомутным самогоном. Кончиком льняного рушничка старательно вытерла две граненые рюмки и только после этого села в сторонке, на скамье у окна.

- Очень ты быстрый, - хлопнул племянника по колену Шульга.
- Не иначе, в очень горячей воде купанный. Давай все-таки для начала пропустим по одной ради встречи. Не каждый день такое случается.

- За ваше, дядя, за ваше, мама!

- Пей на здоровьице... Ну, пускай нашим будет хорошо! А всем врагам гибель!

Шульга выпил, не закусывая, нюхал огурец.

- Я тебе вот что скажу: вижу, парашютист. Нас, брат, не проведешь. Такие тут высшие школы проходили, ого!.. Потому давай все прямо и не бойся. Я тебе, а ты мне. Одно, Семен, дело делаем... Сколько же вас?

- Ну, предположим, семеро... А что вы слышали?

Вы же понимаете, сию здесь как на иголках. Выбросили нас в полтора километрах от того места, куда запланировали...

- В том-то и беда, что ничего я еще не слышал. Кроме тех ребят, которых, если это правда, Макогон задержал, полицаи нашли лишь два парашюта.

- А что с теми, задержанными, не слышали?

- Ничего... Да и проверить все это еще нужно.

- Если что... если так... Ох, какая же неудача! И кто бы это из них мог быть? А старосту этого нужно теперь не выпускать из поля зрения и при первом же удобном случае... Понимаете?!

- Понимать я понимаю, но прежде всего следует людей разыскать, проверить все.

- Разыскивайте, дядя, поскорее разыскивайте и сразу же ко мне! Дело ведь не терпит! А парашюты где найдены, не слышали?

- Один под самым Жабовым, а другой возле Подлесного.

- Здорово, выходит, рассеяло... По прямой он летел, что ли?! - удивился Семен и подумал: "Кто-то, выходит, не так уже далеко от меня спустился. Возле Жабова". - А Солдатский поселок? Что там случилось? Это не связано с парашютистами?

- Имеешь в виду пожар, что ли?

- Пожар.

- Нет! Там другое. В Солдатском в тот день ребят для отправки в Германию вылавливали. Ну, они, как обычно, разбегаются. Родители как только можно выкручиваются и прячут их. Староста - теперь они уже пугливыми стали - медлит, тянет, чтобы было и нашим и вашим. Полицаи не справляются. И выехал туда под вечер сам новобайрацкий жандарм Бухман. Навел коекак порядок - кому-то зубы выбил, кого-то в район в тюрьму загнал. Детей, которых успели выловить, запер в школе на замок. Родителей, дети которых не явились, тоже под замок. Пообедал у старосты и уже под вечер назад, в Новые Байраки. Только-только

солнце зашло, миновали Жабово, как раз сумерки сгустились. И на дороге в трех километрах от Жабова взрыв! Видать, подложили ему в Солдатском гостинец в машину. Мотор вдребезги. Шофера насмерть. А Бухман, собака, уцелел, вырвался из пламени, только брови опалил... Остановил какую-то немецкую машину, убитого оставил в Жабове, а сам снова в Солдатское... Поднял на ноги полицию, десятка два людей вместе со старостой погнал на расправу в Новые Байраки. Поджег с десятков дворов... Ну, а тут и вы, как нарочно, со своими парашютами. Долго удобного момента ждали, вот и дождались... Ну, да ничего... бог не выдаст, свинья не съест! Поможем, разыщем!

- Ищите, дядя Роман, ищите, да поскорее. И о тех, задержанных, непременно узнайте. Их ведь выручать как-нибудь нужно.

- Ясное дело. Узнаем, будем искать. Но тебе, Семен, вот так на виду не очень надежно сидеть. Облавы идут по всем районам. Мало ли что кому в голову придет. Я бы тебе посоветовал хоть на ночь в заросли лозы перебраться. Береженого бог бережет. А уж завтра мы тебя обязательно в одно безопасное местечко перебросим. Ну вот... А теперь, дорогой, ты как хочешь, неволить не буду, а я опрокину еще одну - и айда! Машина на скальновской дороге небось уже ждет меня...

Шульга вышел из хаты. Семен с мамой следили за ним в окно. Роман постоял на пороге, неторопливо огляделся вокруг. Потом постоял еще и возле калитки. Заметив в глубине улицы знакомого полицейя ("Случайно или..."), качнулся, попятился и, нетвердо шагая, завел:

А сирі дрова не горять!..

Потом плелся некоторое время молча. Вроде идет человек от родной сестры "под мухой", хоть и средь бела дня, но, что ни говори, воскресенье. С трудом вспоминая слова, пытается завести песню. Но было ему не до песни. "Случайно или не случайно вертится поблизости полицей?. - думал он. Нет, о Семене ему, конечно, и во сне не приснится. А вот что касается меня, руководителя Терногородского подполья, четвертого, а может, уже и пятого, если сказать привычным словом, созыва (ибо все предыдущие созывы гитлеровцы в течение двух лет выслеживали и уничтожали), механика Терногородской МТС, хромого сорокалетнего Шульги... вот что касается меня, то в последнее время вокруг меня не очень весело.

Следят. Возможно, не за мною одним, но следят... И этот длинноногий полицей не раз в последнее время встречается на моем пути... Может, и так, может, и простое совпадение, случайность. Но опять-таки береженого бог бережет! Хотя какие

могут быть разговоры? Идет человек своей дорогой. Навестил одинокую старшую сестру. Ну и... если эта сестра живет в другом селе, а навестил ты ее в воскресенье, то..."

А сирі дрова не горять!..

Полицай (это было видно еще и сестре из окна) подошел к Шульге. Пошли вместе, рядом. Ялынка встревожилась было, а потом успокоилась.

- Идут себе рядком да разговаривают ладком. Со стороны глянешь, будто кто-то кого-то ведет, - сказала, обращаясь к Семену. - То ли полицай Романа, то ли Роман полицая... Видать, все-таки полицай подвыпившего Романа... Ну и на здоровье!

А длинный полицай шел рядом с Шульгой, криво улыбаясь.

- Ой, весело тебе что-то, пане Роман!

- А что... - бросил Шульга и сразу же затянул:

А сир-р-рі дрова не горррять!..

- Да, не горять! - нахмурился полицай. - Как говорится, кому весело, а кому и грустно... Про парашютистов этих большевистских не слыхал? Аж сюда уже добираются.

А сир-р-рі дрррова не горрять!..

- Ой, загорятся, когда сюда красные дойдут! - долбил свое полицай. - Не слыхал? Говорят, где-то уже вроде бы и на Днепр вышли.

Шульга с пьяной хитростью взглянул исподлобья на полицая и помахал у него под носом большим сплюснутым (когда-то молотком разбил) указательным пальцем:

А сир-р-рі др-р-рова не гор-р-рять!..

И можно было истолковать этот жест как угодно. Но, вероятнее всего, так: "Ты меня, пане полицай, за язык не тяни, я человек маленький. Все это мне ни к чему, мое дело сторона..."

Полицай прошел еще немножко рядом, а потом, пожав плечами, отстал.

А сир-р-рі др-р-рова не гор-р-рять!..

На следующий день представители терногородской "Молнии" "перекантовали" Семена Лутакова в "Раздолье"...

...Увидев и издали узнав капитана Сапожникова, Семен бросается бежать, ловко, умело перепрыгивая через кусты барбариса.

Замедляет шаг лишь за несколько метров и, как есть, в одних трусах, опустив руки по швам, четко, по-военному отпечатывает шаг. Подходит, останавливается в трех шагах, ест глазами начальство и громко рапортует:

- Товарищ командир десантной группы, старший лейтенант Лутаков прибыл в ваше распоряжение для прохождения дальнейшей службы!

И стоит, будто отлитый из металла. Только улыбка до самых ушей и капельки воды на плечах вспыхивают синими огоньками в солнечных лучах.

- Вольно! - точно так же улыбаясь, командует Сапожников. - Благодарю за службу. - И спрашивает с надеждой и плохо скрываемой тревогой: - Ты один, Семен?..

- К сожалению, один, товарищ Сапожников. А вы?..

- Я-то не один, но...

Однако его речь вдруг прерывает какая-то полная краснощекая смуглянка в зеленом платице, с толстой косой, уложенной на голове венком.

- Прошу прощения, - говорит она громким степным голосом, обращаясь к своему руководителю. - Виталий Витальевич, возвратился Ромашко. Рассказывает, что хлопцы топтуновские вроде бы какого-то гестаповского шпика поймали. Сначала в погребе держали, а теперь, говорит, собираются "шлепнуть"... Виталий Витальевич, вы же знаете Топтуновых! Не откололи бы чего-нибудь...

Передайте, Виталий Витальевич, чтобы без вас не самовольничали... а то мало ли что.

- Хорошо, хорошо, Галинка, - ответил Виталий Витальевич. - А что же говорит он?

- Кто?

- Ну, тот, задержанный?

- Говорит, что парашютист...

Виталий Витальевич поворачивается лицом к Сапожникову и, устало улыбаясь, говорит:

- Верите, товарищ капитан, за эти два дня всюду развелось столько "советских парашютистов"! Десятками! Настоящих не разыскали, а гестаповских хоть пруд пруди... А у нас там, у Топтуна, важная запасная база. - И снова к девушке: - Хорошо, хорошо, Галинка. Тотчас же передай, чтобы не мудрили. Передай, чтобы они, тщательно соблюдая маскировку, привели этого "парашютиста" сюда, к Чабаненко!

ЕФРЕЙТОР НАСТЯ НЕВЕНЧАННАЯ

Всю жизнь, сколько Настя помнит себя, она всегда куда-то спешила. Ей постоянно не хватало времени.

Она никогда не успевала спокойно позавтракать, пообедать или поговорить с кем-нибудь: всегда нужно было куда-то бежать, торопиться.

И вот теперь впервые за свои семнадцать лет она имеет вдоволь времени торопиться некуда. Однако обстоятельства к спокойным размышлениям вовсе не располагают.

Вокруг совершенно незнакомая местность, степь, опушка

леса. Лунная летняя ночь подошла, вероятно, уже к трем часам. А она, Настя, повисла между небом и землей в густой кроне раскидистого дуба. Повисла и барахтается, беспомощная и разъяренная, вот уже столько времени! И вместо того чтобы трезво и спокойно поразмыслить обо всем, ругает себя макухой и чуть не плачет от досады, бессилия и отчаяния...

Очень давно, еще когда она была совсем маленькой, отец - высокий, сильный, приятно пахнущий дорогими папиросами, - беря ее на руки и подбрасывая к самому потолку, громко смеялся и приговаривал:

"Она у меня такая легонькая, словно перышко... Однако только характер тяжелый..."

"Что верно, то верно, - добавлял дедушка (в воспоминаниях-седой пушок, ласковый тихий голос), - хотя и девчонка, а характер запорожский!"

"Как нашатырный спирт", - включалась в разговор и мама, которая работала тогда лаборанткой на заводе и хорошо разбиралась в химии.

Подлетая к потолку, Настя заливалась веселым смехом, хотя на самом деле ей было страшно. Полет этот, несмотря на страх, ей очень нравился.

...Парашют ее раскрылся на большой высоте от земли. И ее очень долго несло куда-то в тусклый ночной простор. Пока не занесло к этому неведомому лесочку и не бросило на этот вот дуб...

Сначала она с треском и шумом/пробила его густую крону, к счастью не повредив себе глаза. Потом ее яростно рвануло, занесло в сторону, с силой ударило о толстый шершавый ствол левым плечом.

Через минуту, когда она была в состоянии немного ориентироваться, поняла: висит между небом и землей.

Парашют запутался в ветвях. Над головой темный шатер листвы. Стропы, свернувшись жгутом, попали в развилку между ветвями, захлестнули туловище и затянули левую руку так, что не шевельнешь ею. Правая оставалась свободной. Но затекла, одеревенела.

Значит, приходилось либо терпеливо ждать, пока подойдет кто-нибудь из своих, заметив белое полотнище парашюта на дереве, или... Настя, несмотря на боль в плече, раскачивается всем телом, пробует дотянуться ногами до ствола. Однако ствол от нее все-таки далеко, и ей не достать даже носком сапога. Да, положение - хуже не придумаешь. Подходи, подставляй лестницу и снимай, как мокрую курицу. Весело, ничего не скажешь.

Макуха!

Как есть макуха!..

И все-таки, ежели что, живой в руки она не дастся.

Пистолет недалеко - в правом верхнем кармане ватника. С огромными усилиями, преодолевая боль и оцепенение, она все-таки согнула правую руку и дотянулась до пистолета. Дотянулась, но пальцы будто деревянные, не подчиняются ей и вряд ли удержат тяжелое оружие.

Ну, что же... Сейчас пока потребности в этом нет. А там пальцы в конце концов отойдут. В случае чего она ни перед чем не остановится.

Летом, когда они жили за городом, в лесу, четырехлетняя Настя, не задумываясь, хватала в руки колючий комок, который потом оказывался ежиком. Хватала и не выпускала. Так же бесстрашно, в отличие от ровесников, могла взять в руки ужа или жабу. Наткнувшись на жалящую крапиву, не плакала и не обходила потом "плохой" куст. Никому не пожаловавшись, брала в руки палку и собственноручно наказывала растение. Если падала и сильно ушибалась, почти никогда не плакала, удивляя этим взрослых. Только насупливалась и мрачно молчала. Если уж совсем не вмоготу было сдерживать слезы, пряталась куда-нибудь в уголок, отворачивалась к стене и терпеливо простаивала до тех пор, пока само не пройдет.

- Какой-то у нас ребенок не такой, как у людей, - порой с удивлением, а порой с восторгом говорила мама. - Ни боли для нее, ни страха словно бы не существует. В кого только пошла?

- Казацкая кровь! - смеялся отец. - Ничего, доченька, - гладил он тяжелой ладонью ее русую головку. - В жизни и это пригодится.

А Настя, еще не понимая, почему они подтрунивают над нею, а то и хвалят, хмурилась и молчала.

...Не было у нее ощущения страха и сейчас, только злость и жгучая досада, что все так отвратительно сложилось. Просто невыносимо, что она, как ни старается, не может, не найдет в себе сил, чтобы преодолеть эти глупые обстоятельства, покончить с ними разом и как можно скорее!

Правда, об истинном своем положении она не догадывалась. Не сомневалась, что впереди темнеет именно Каменский лес, что этот дуб, который роскошно разросся в поле, передовой страж этого самого леса...

Обидно, конечно, до слез, что она не может вырваться из этого нелепого плена и броситься в лес навстречу своим, навстречу партизанам-пархоменковцам. И тем не менее она твердо уверена: все должно закончиться как можно лучше, так, как и следовало. Если же друзья не заметят ее, она обязательно

справится и сама. Сосредоточится, отдохнет, наберется сил. Тем временем рука и плечо отойдут, перестанут болеть. Жаль только, что нож засунулся куда-то за спину и ей сейчас никак до него не дотянуться... Хотя бы утро наступало не так скоро, чтобы она успела освободиться. И все будет хорошо.

Будет так, как ей нужно. В конце концов, так бывало всегда, когда она этого очень хотела. Хотя бы тогда, с тем генералом...

Она давно уже убедила себя в том, что ей везет. Вот и раньше каких только ужасов не испытывала, в какие переpleты не попадала! А вот... жива! Да она, Настя, и права не имеет, просто не смеет погибнуть после всего, что видела. Не может погибнуть, не отплатив им, не отомстив...

В конце концов, даже самые сложные обстоятельства не обязательно приводят к смерти, а, к сожалению, из подобных, чуть ли не смертельных обстоятельств складывалась до сих пор чуть ли не большая часть ее коротенькой сознательной жизни.

Только первая утрата - смерть дедушки, которого она едва помнила, прошла как-то безболезненно. Она была еще так мала, что даже не поняла невозвратимоеТ утраты. Ей казалось, что дедушка на время исчез и в один прекрасный день появится...

Отца она тоже помнила мало. Как сквозь туман. Он был кадровым военным с довольно высоким званием.

Его часто переводили с места на место, и не всегда переезжали они всей семьей... Отец погиб в Испании. Дочь узнала об этом не сразу. И быть может, впервые в жизни поняла тогда, что вот умер самый близкий, самый родной человек и его уже не будет, никогда не будет!

Душевный протест против этой страшной очевидности был таким острым, а сознание непоправимости таким ужасным, что девушка впала в ст?;?яш.е, думала только об одном - о смерти. И если бы не мама, не ее еще более страшное горе, не желание хоть как-то утешить и поддержать маму, кто знает, чем бы все это кончилось.

В сорок первом году она перешла в восьмой класс.

Двадцать второго июня собиралась ехать в пионерский лагерь на Азовское море. Еще с вечера все ее вещи были собраны, платья выглажены, чемоданчик уложен.

А утром началась война, и Настя так никуда и не поехала.

Сначала война была где-то далеко, хотя и накатывалась, угрожающе приближалась к ним с каждым днем.

Так было до поздней осени. Бомбили их немцы, правда, не часто. Но через город перекатывались колонны беженцев; привозили, размещали по больницам или же эвакуировали куда-то дальше раненых красноармейцев.

Настя, еще не услышав ни одного выстрела, за эти несколько месяцев насмотрелась на такое тяжкое людское горе, что в другое время, другому человеку этого хватило бы на всю жизнь.

Осенью фронт подошел вплотную к их городу. Остановился в центре Донбасса. Было не до учебы. Всю зиму Настя работала сначала в эвакогоспитале санитаркой, а потом вместе с мамой на детском эвакуационном пункте. Этот пункт расположился в ее, Настиной, школе.

После неудачного майского наступления наших войск под Харьковом, когда гитлеровцы снова прорвали фронт и двинулись в новый марш, Настя вместе с мамой эвакуировалась на восток. Мама сопровождала последние пять машин с детьми. Детей было больше сотни. Сопровождали их, не считая пятнадцатилетней Насти, пятеро взрослых: четыре женщины и завхоз-инвалид. Мама была старшей. Чтобы избежать опасности попасть под бомбежку, шоферы вели машины не по центральным магистралям, а по тихим и безлюдным степным проселкам.

Трое суток продвигались они без особых приключений. Даже довольно быстро. Выбрались уже за границы Донбасса, в степи между Донцом и Доном. Казалось бы, опасность осталась позади. Но именно тогда все и случилось, в то солнечное летнее утро, в безбрежной зеленой степи, среди моря пшеницы, на совершенно пустом несколько минут назад проселке...

День вставал над степью ясный и тихий. Звенели над росистыми хлебами жаворонки. Настя сидела в кабине передней машины. Солнце, поднявшись из-за горизонта, мощным прожектором било в ветровое стекло, ослепляло. Наверное, поэтому Настя и не заметила, как все началось. Она увидела вдруг, как взметнулись вокруг черные дымные столбы, которые сразу затмили и это мягкое утро и самое солнце. Машина неожиданно, будто живое существо, рванулась в сторону, сделала крутой поворот и опрокинулась в кювет...

Мгновенная жуткая тишина, короткая вспышка детских голосов, какой-то странный звук, будто прошел град, - и снова взрыв... И так один за другим, несколько раз...

Настя не помнила, как выбралась через выбитую дверцу из машины. Поняла только, что, целая и невредимая, стоит посреди дороги и смотрит на жутко застывшую картину: две машины - справа и слева - в кюветах, одна поперек дороги вверх колесами, другая чуть дальше осела на задние скаты, будто встала на дыбы.

И только та, которая была последней, перемахнув через кювет, мчится куда-то в степь... Мчится, по сизовато-зеленому пшеничному полю, будто плывет по зеленым волнам.

На дороге дикий, слепой водоворот, взбудораженный

смертельной опасностью человеческий муравейник...

С диким визгом бегают, будто вспугнутые птенцы, не догадываясь рассыпаться по полю, уцелевшие дети... А изпод красного страшного солнца прямо на малышей неумолимо надвигаются танки. Те, что были в танках, видели, не могли, конечно, не видеть, что перед ними дети.

Но не останавливались. Надвигались ровно, неумолимые и неотвратимые, черные слепые гигантские кроты... Увидев это, можно было сойти с ума. Настя не сошла с ума...

но не выдержала. Крепко-крепко, до боли в глазах, зажмурилась. И заслонила уши слабенькими, ненадежными ладонями...

После всего, что услышала и увидела на той дороге, она уже действительно ничего и никогда не боялась.

Бросало в дрожь Настю только одно: воспоминание о том утре... И каждый раз, когда вспоминалось это утро, Настя невольно закрывала ладонями глаза, затыкала уши, - будто это могло спасти ее от воспоминаний.

Из взрослых (Настя тогда уже считала себя совершенно взрослой) осталось в живых только двое: она и пожилой водитель уцелевшей машины, той, которая успела умчаться с дороги в степь. Раненых и искалеченных детей через несколько часов помогла подобрать случайно подоспевшая колонна санитарных машин. Убитых зарыли в общей могиле тут же у дороги красноармейцы.

Все оставшиеся в живых и не получившие ранений уместились теперь в одной чудом уцелевшей полуторке.

Матери Настя не нашла ни среди живых, ни среди раненых. А среди мертвых, в том кровавом месиве, которое оставили после себя фашистские танки, нельзя было распознать ничего...

Через несколько дней после этого, уже за Доном, на широкой улице казачьей станицы пожилого генерала, начальника штаба одной из крупных армейских частей, остановила лет тринадцати, от силы - четырнадцати, девочка с темным от загара лицом и облупленным носом. На щеках возле переносицы даже сквозь темный загар проступали у нее густые веснушки. А взгляд голубовато-холодных глаз был не по-детски твердым и острым.

- Мне шестнадцать лет, - поздоровавшись, сказала она генералу. - Вы должны меня послать на фронт...

Генерал остановился. Забыв ответить на приветствие, он удивленно посмотрел на офицеров, сопровождавших его.

- Вы должны послать меня на фронт, - упорно, твердо повторила девочка. - Я буду делать все, что прикажут. Я умею стрелять, стирать белье, готовить пищу и перевязывать раненых...

- Откуда ты? - дрогнувшим голосом спросил генерал.

Девчонка, если присмотреться к ней поближе, лишь ростом была маленькой. А так, по глазам, по выражению лица, по разговору, была по крайней мере на дватри года старше, чем ему показалось сначала. Она чемто напомнила генералу его среднюю внучку, от которой он вот уже год не имел никаких вестей.

- Я оттуда, - девчонка махнула рукой куда-то на запад. - Вы должны послать меня на фронт... Мою маму позавчера убили фашисты. Отец полковник, погиб в Испании. Я могу ходить в разведку. Я уже работала в госпитале...

- Постой, постой, - совсем уже растерялся генерал. - Нельзя же так сразу! Кто ж так делает? Только подошла, еще и не познакомились - и сразу на фронт!

- Вы должны взять меня... Все равно я пойду на фронт! Мне уже шестнадцать.

Под ее натиском генерал почувствовал себя совсем беспомощным. Горло у него подозрительно сжалось. Он еще раз оглянулся и не приказал, а попросил тихим, смущенным голосом:

- Прошу тебя, майор, позаботься. Прикажи старшине Ковганюку экипировать как следует, ну и... Нужно как-нибудь устроить... Одним словом, займись...

- Есть заняться, товарищ генерал-лейтенант! - вытянулся молодой блондинистый красавец майор с орденом Красной Звезды на новом кителе.

- Ты уж извини, - повернулся снова к девушке генерал, - извини... э... э... как тебя зовут?

- Настя. \ - Так ты извини, Настя... Сейча-е-аойна, у генералов работы по горло, - улыбнулся он. - Генералы - люди очень перегруженные. Так что ты вот к майору... э... Калюжному... Он все и устроит. До свидания... э... э... Настя!

- До свидания, - ответила Настя и холодно поблагодарила.

Настю приодели, накормили, выписали продуктов на дорогу, дали даже немного денег и попытались отправить в тыл. Она попрощалась с майором Калюжным, а на следующий день опять подстерегла генерала - теперь уже возле штаба.

- Здравствуйте... Все равно вы возьмете меня на фронт.

Перед такой настойчивостью генерал растерялся.

Майора Калюжного поблизости не оказалось, и отослать ее было некуда; он вышел из положения, обещав подумать, поговорить с девушкой как-нибудь... завтра.

Так продолжалось несколько дней, пока генерал, наконец, не выдержал.

- погоди. Все это я уже слышал! - грозно сдвинул он седеющие брови. Ты лучше скажи: как у тебя с образованием? Только говори

правду!

- Перешла в восьмой, - сразу же притихла Настя.

- А училась как? Шалей-валяй?

- Вот и нет. Одни "отлично" и "хорошо".

- Гм... так я тебе и поверил. - И уже Калюжному чуть не умоляющим тоном: - Послушай, майор,ними ты этот тяжкий камень с моей души, позвони полковнику Зернышкину. Слышал я, ему нужны люди на курсы радистов... Попробуй. От меня попроси... Все равно ведь и нам радисты всегда будут нужны...

На курсы радистов Настя согласилась. Генерал на прощание подробно побеседовал с девочкой, внимательно расспрашивал об отце (о нем слышал, оказывается, и раньше), о матери, потом вручил ей все ее документы и отпустил с напутствием:

- Смотри же теперь, Настя, учись! Чтобы не пришлось мне, старику, краснеть за тебя.

Пряча в карман великоватой ей гимнастерки документы - комсомольский билет и фотографию (они вдвоем с матерью), Настя впервые за все время скупой улыбнулась, вытянулась и даже каблучками пристукнула.

- Есть учиться, товарищ генерал-лейтенант!..

Училась Настя старательно. Курсы закончила на "отлично", далее с благодарностью от командования. Сначала работала в штабе одного из воздушных соединений.

Освоила там еще и парашютное дело. Потом, после Сталинграда, ее перевели в штаб фронта, во вновь созданный партизанский отдел.

В мае сорок третьего ей присвоили звание ефрейтора.

В июне она стала старшей радисткой и заместителем начальника отделения. И наконец, в августе Настю включили в организационно-партизанскую десантную группу капитана Сапожникова.

Так осуществилась ее мечта, ее страстное желание попасть на фронт. Осуществилось то, чего она так настойчиво добивалась и наконец добилась. И вот висит на дубу среди степи. Ей, в конце концов, не страшны ни гитлеровцы, ни смерть. Не боится она и того, что осталась одна-одинешенька, без товарищей. Так уж вышло.

Страшно, что будет она висеть здесь до самого рассвета, а потом придут они и, смеясь, издеваясь, вынут ее, как птичку из силков. Ужас! Неужели же так бесславно, так позорно все это закончится?

Да и товарищей, сама того не желая, она подвела: как будут без рации?

Тишина. Почему такая мертвая, такая замороженная тишина

вокруг? Будто и войны никакой нет. Будто и не пролетел только что над этой степью самолет и не сбросил целую десантную группу!

Где они все? Словно растворились в этой зеленоватой лунной мути. Вокруг безлюдье. Ни единого звука.

И свистка... Неужели ее могло отнести так далеко? А они, видимо, спустились где-то там, в лесу. И уже собрались вместе. И разыскивают ее, углубляясь все дальше и дальше в заросли. Даже и не представляют, что она могла оказаться здесь, в поле, да еще и повиснуть!

Тело ее от неудобного положения затекает, будто свинцом наливается, тяжелеет и гудит, словно колокол.

И в голове гудит и вызванивает.

Ей бы хоть до пистолета дотянуться. Только бы ухватить его рукой. Тогда она... о, тогда она знает, что делать. Подпустит их близко-близко. Нет, она не испугается. И не растеряется. Подпустит к самому дубу и с близкого расстояния прямо в упор! Рука у нее не дрогнет. Один патрон... два... три... шесть! Нет, лучше все-таки только пять, а два патрона на всякий случай оставить для себя. Мало ли что! На перезарядку магазина надежды мало. Не успеет... Вот только бы дотянуться, только бы схватить, только бы покрепче стиснуть рукоятку.

Настя в который раз уже сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее шевелит пальцами правой руки.

Хотя и не без боли и не совсем послушно, они все же поддаются ее усилиям. Пошевелив, пробует стиснуть руку в кулак, но она протестует резкой болью. И все-таки если только быть настойчивой и не обращать внимания на боль... Необязательно сжимать пальцы в кулак, ведь нужно только удерживать пистолет. Она бы не выпустила его, если бы... если бы смогла согнуть руку в локте, чуточку поднять плечо и потом дотянуться пальцами до кармана...

Раз за разом, все настойчивее и злее, пробует Настя осилить то незначительное, казалось бы, движение и после каждой такой попытки, подавляя боль, слабость, обливаясь потом, минутку отдыхает. Отдохнет, стиснет зубы, остервенится и... рывок! Потом снова рывок.

А ночь плывет и плывет над тишиной тусклых полей, над неподвижной темной кроной дуба, над всем миром, равнодушным к Насте.

Чище, отчетливее становятся очертания недалекого леса. Глубже, просторнее степная глубина. Постепенно бледнеет, линяет синева неба, блекнут звезды. А где-то далеко-далеко на востоке просвечивает светло-лимонной полоской горизонт.

Оседают на степное дно зеленоватая лунная пыльца, а воздух наливается свежестью и прохладой.

А тем временем идет по полю девушка. С виду она на два-три года старше Насти. Идет из Терногородки в лес, в свой, родной, Подлесненский, в котором выросла, в котором и сейчас ее отец работает лесником. Где каждая тропинка, каждое деревце знакомы ей с самого детства.

Каждый раз, возвращаясь домой из школы, как бывало раньше, или, как теперь, с какого-нибудь опасного задания, издалека ловит Яринка взглядом верхушку высокого дуба, который встречает ее в степи возле Калиновой балки. Как только увидит девушка кудрявую верхушку, так и бежит навстречу ему, будто увидела самого дорогого друга.

Сегодня Яринка тоже возвращается с трудного секретного задания. И хочется ей как можно скорее из открытой степи попасть в спасительный лесной полумрак.

Торопится, все ускоряя и ускоряя шаг. Уже почти бежит к дубу. И вдруг видит на нем что-то непривычное для глаз, непонятное. Что-то тревожное и настораживающее.

И вместо того чтобы остановиться, Яринка бегом бросается навстречу этому непонятному и тревожному. Будто кто-то родной попал в беду, и она спешит ему на помощь.

Она сейчас одна-одинешенька среди этой залитой лунным светом степной шири, возле темной опушки. Но страха она не ощущает. Лишь тревожное любопытство, беспокойство. Не боится Яринка ни степи ночной, ни леса, потому что родилась и выросла она здесь на опушке, потому что это ее родная степь, ее родной лес.

Бежит, не отрывая глаз от дуба, смотрит и никак не может понять, что это там белеет призрачно, закрыв вершину дерева? Бежит Яринка, торопится, даже и не предполагая, что именно ей - первой в этих краях за два долгих года - довелось встретиться с первым советским парашютистом.

Бежит Яринка. И дуб на глазах вырастает, будто торопится ей навстречу. Четкий, знакомый с детства до мельчайшего листика и веточки темный силуэт могучего дуба на ясном фоне звездного неба. Под ним непроглядно-темный круг густой тени, а над ним... что-то загадочное, серебристо-белое... Может, опасное?

Бежит Яринка. И дуб, и черная тень, и белое привидение все ближе да ближе. Совсем уже рядом, и вдруг то ли из-под земли, то ли с неба:

- Стой! Стрелять буду!

От неожиданности Яринка Калиновская останавливается, будто наскочив на какую-то невидимую стену.

Голос прозвучал над нею подобно грому... Однако...

постой! Он ведь... в самом деле, это женский голос! Собственно, даже не женский, а скорее детский. И в этом голосе не испуг, а злость и слезы.

- Слышишь, ты, не подходи! Не подходи, говорю тебе в последний раз! Стреляю!..

Голос Насти и в самом деле дрожит, ломается от жгучих слез, отчаяния и растерянности. И то сказать!

Всего ждала, ко всему готовилась: V-фашистам, полициям, собакам, хоть к самому Гитлеру! Но чтобы женщина...

Настя яростно рванулась всем телом и, ослепленная пронзительной болью, почувствовала, как в плече у нее что-то хрустнуло. И вот рука ее послушно сгибается в локте, быстро опускается в карман, пальцы уверенно, мягко стискивают холодную рукоятку пистолета.

- Стой! Слышь, не подходи! Стреляю! - теперь уже звонко, с радостной уверенностью повторяет Настя.

И только теперь замечает наконец Яринка повисшую в тени густой кроны щупленькую фигуру, различает белое полотнище запутанного в ветвях парашюта...

А над степью уже рассветает.

Солнце еще не близко, но уже рождается в степи новый день.

- Да стою же, стою, - негромко и спокойно, чтобы и впрямь не напугать "приведение", наконец произносит Яринка.

Она стоит на полевой меже, еле заметной в зарослях пырея, полыни и медвяной каши, в каких-нибудь десяти шагах от дуба.

- Стою. И стрелять не нужно. Ничего плохого я тебе не сделаю. Да и оружия у меня нет.

Минуту обе молчат. Что же говорить или делать дальше?

Наконец, более подготовленная ко всяческим неожиданностям, заговорила Настя:

- Ты что, одна здесь?

- Одна-одинешенька.

- И чего носит тебя нелегкая по ночам?

- А тебя?

- Меня!.. - чуточку обидевшись, свысока бросает Настя. - Меня... Что ж тут удивительного? Нужно, вот и носит.

- Ну, так же и меня, - и Яринка, правда чуточку нервно, прыскает со смеху.

Невольно прыскает и Настя. И сразу же умолкает, становится суровой.

- Гм... а ты никого здесь поблизости не встретила?

- Ни единой души.

- Гм... подойди поближе, чтобы я лучше тебя рассмотрела.

Только не спеши... И если что... сразу же стреляю... Ты знаешь, как я стреляю?

- Откуда же мне знать?

- То-то и оно... с первого выстрела - в яблочко!

Яринка шагает в тень под дуб. Поднимает голову и теперь уже спокойно и внимательно разглядывает эту странную, которая невесть откуда и взялась тут, девушку.

- Тебя кто-то привязал?

- Никто меня не привязывал, - сердито, обиженно буркает Настя.

- А как же? - так и не понимает Яринка.

- Само...

- Как само? Так ты и в самом деле... - наконец догадывается Яринка, - с самолета?.. - У нее перехватило дыхание, и последние слова она уже не произносит, а шепчет горячим, сдавленным шепотом: - С нашего самолета? Правда?..

- С нашего, не с нашего! Правда, не правда! Ты лучше скажи, кто ты такая.

- Яринка, - сразу же охотно откликается девушка. - Яринка Калиновская. - И торопится добавить: - Здешняя я, комсомолка. Дочь лесника... Дом наш здесь, совсем близко. А ты?

- А что я? Ничего я... - словно холодной водой облила ее Настя. - Так я тебе и поверила! Лучше вот помоги. Я, конечно, и сама могла бы, - добавила предостерегающе, - только рука что-то побаливает...

- Сейчас. Одну минутку, - совсем не обижаясь, с радостью бросается к ней Яринка, уже навсегда, до конца своей жизни влюбляясь в эту совершенно неизвестную ей девушку, восторгаясь ее невероятной смелостью, ее героизмом.

Подумать только! Девчонка, одна, и на такое отважилась! Прыгнуть с парашютом неведомо куда!.. В самое, можно сказать, пекло! Мама родная!

И только теперь Яринка вдруг ощутила всю необычность, исключительность того, что происходит. И ту смертельную опасность, которая угрожает сейчас им обоим в чистом поле перед этим прозрачно-синим неотвратимым рассветом, и свою суровую ответственность. Такую ответственность, какой она, казалось, за два этих тяжелых и кровавых года оккупации, подполья, трудных заданий и смертельных опасностей еще, вероятно, и не испытывала.

Ведь впервые за два таких года увидела она человека оттуда, с далекой, пока недостижимой, но такой родной Большой земли!..

Была, выходит, перед Яринкой Калиновской не просто советская девушка, нет! Это был в ее глазах Великий Посланец

Великой Земли! И она, Яринка, отвечая сейчас за эту девушку перед их подпольем, перед "Молнией", перед целой страной, во что бы то ни стало обязана сделать все возможное и невозможное, чтобы спасти ее, защитить от врага, помочь.

А девушка повисла так высоко и запуталась в ветвях дуба так прочно, что сразу ей к не можешь. Снизу даже рукой не дотянешься.

Тем временем уже светает... катастрофически быстро светает, как никогда раньше за всю короткую Яринкину жизнь.

И она, как это уже бывало с нею и раньше в самые критические минуты, взяла себя в руки. Села на землю и принялась стаскивать свои маленькие, плотно подогнанные сапожки.

- Как тебя хоть зовут? - спросила она, аккуратно поставив оба сапожка возле ствола.

- Настей, - не колеблясь, ответила та, склонив набок голову и с любопытством наблюдая за Яринкой.

- А фамилия? - встала на ноги Яринка.

- А фамилия зачем тебе? - снова насторожилась Настя.

- И то, - спокойно согласилась Яринка, - твоя правда!..

Она сияла с себя, бросив на сапожки, еще и темную коротенькую курточку.

Раздевшись, Яринка стала сразу совсем щупленькой, почти такой же, как и Настя. Подняв голову и улыбаясь, предупредила:

- Только ты смотри не стреляй. А то убьешь, как я тогда тебе помогу?

Оплывший у корня узловатый ствол дуба на добрых пять-шесть метров вверх, до первой толстой ветки, под которой повисла Настя, был хотя и шершавым, но совсем ровным, без единого, казалось, сучка. Да еще таким толстым, что охватить его руками могли разве лишь двое таких, как Яринка. Но девушка привычно, крепко цепляясь пальцами за его потрескавшуюся кору, как белка, вскарабкалась вверх. Добралась до первой ветки, подтянулась на руках, встала на нее обеими ногами и, ловко балансируя, остановилась над Настей. Подпрыгнула раза два, пробуя, не сломается ли, хотя эта ветка могла выдержать добрых полдесятка таких девчонок. Потом потянула за стропы, потрясла верхние ветки, стараясь высвободить парашют из развилки.

Однако скрученные толстым жгутом стропы словно выросли в развилку.

А вокруг становилось все светлее и светлее. Яринку бросило в пот. Ноги от напряжения начали мелко дрожать.

- Послушай, - заговорила снизу примолкшая Настя, - послушай, у меня на поясе с левой стороны нож...

Если бы ты смогла его достать...

Яринка ухватила за стропы и повисла на руках рядом с Настей. Держась попеременно то одной, то другой рукой, разыскала наконец финку. Обрезав несколько строп, высвободила левую совсем онемевшую Настину руку.

- Сними с меня мешок, - приказала Настя, так и не выпуская пистолета. Можешь бросить его вниз. А этого не трогай. Это я брошу тебе в руки... Так, теперь давай мне нож, а сама на землю... Лови! - скомандовала она, когда Яринка снова стояла под дубом. - Только осторожно. Слышишь, очень-очень осторожно, - почти умоляла Настя, опуская вниз зеленый ящичек.

Когда мешок и ящик были уже у Яринки, Настя (все равно ничего не поделаешь!) передала ей пистолет, а сама, полоснув острой финкой по стропам, грузно свалилась на землю.

Свалилась и какое-то мгновение лежала, свернувшись клубочком, тихая и неподвижная.

- Что с тобой? - склонившись над нею, спросила встревоженно Яринка.

- Ничего особенного, - тяжело поднимаясь на ноги, ответила Настя...

Стало совсем светло. И хотя солнце еще не всходило, над степью, над густо-синей полоской недалекого леса уже светилось розовое небо.

- Давай, давай скорее. Бегом, - встревоженно велела Яринка.

- А парашют! - воскликнула Настя.

- Что парашют?

- Как что? Согласно инструкции, в первую очередь надежно спрятать парашют!

- Да ты что!.. - сердито и властно крикнула Яринка. - Мы все равно с тобой его не снимем. А если бы и осилили, то возились бы знаешь сколько! Как раз за это время и немцы сюда нагрянут. Бросай! Скорее за мной!

Бегом!..

Накинув на плечи куртку, подхватив сапожки и Настин мешок, она побежала к лесу.

Настя, уже не возражая, признавая в этот миг старшинство Яринки и ее право приказывать, не оглядываясь на предательски белое полотнище, послушно двинулась вслед...

Сначала они бежали по старой, давно не хоженной меже. Потом по затвердевшей, утопанной стадом целине, вдоль пологой балки, мимо кустов шиповника, через неглубокий, заросший травой лесной овраг.

По ту сторону рва - заросшая луговым разнотравьем ложбина. Ручей весь в осоке. На дне его неширокий песчаный плес белого

песочка. И, сверля белый песок несколькими крохотными скважинами, бурлит, кипит, схватываясь пузырьками, степной ключ. Почти незаметно для глаза тонкой пленочкой покрывает белый песок прозрачная вода, наполняющая маленькую криничку, окаймленную вербовым срубом. Из кринички с тихим бульканьем вытекает, теряясь в зарослях аира, щавеля и холодной мяты, узенький ручеек. И дальше, возле самого леса, возле пышного куста калины, в орешнике разрастается в прозрачную лесную речушку. Только там Яринка переводит дыхание, впервые за всю дорогу оглядывается.

- Теперь - в воду! - приказывает так, будто та, другая девушка должна все понимать с полуслова.

- В воду? Зачем? - удивляется Настя.

- Собаки, - коротко объясняет Яринка, ступая босиком в холодный ручей.

- Ясно. - И Настя прямо в сапогах входит в воду...

Раздвигая свесившиеся ветки орешника, торопливо бредут они серединой речушки. Мелко, по щиколотку.

Дно твердое, но скользкое. Яринка изредка останавливается и переводит дыхание. Останавливается возле нее и Настя. Стоит, тяжело дышит, утомленная, переволнованная, бледная...

Маленькая, худенькая, с холодно-голубоватыми, подетски широко раскрытыми глазами, она кажется Яринке сейчас еще младше, чем там, под дубом. "Мама родная!

Ну кто бы мог только подумать! Совсем же еще девочка!

Посмотрит кто вот так, не зная, и четырнадцати не даст. А она... Парашютист! Подумать - и то страшно. Рождаются же на свет такие смелые девчонки!" А она, Яринка, смогла бы так?

И, забыв в этот миг все задания, все разведки, все страшные потери, выпавшие на ее долю, боевой разведчик "Молнии" Яринка Калиновская с любовью и с каким-то даже испугом посматривает на эту маленькую веснушчатую девушку.

Ведь не так себе, не по собственной прихоти она очутилась в их краях. Что-то важное, чрезвычайно важное кроется за всем этим для дела победы. И быть может, она, эта маленькая Настя, тут не одна, может... может...

Однако Яринка должна знать свое. Должна завершить выпавшее именно на ее долю важное дело, ни о чем не спрашивая Настю. Ведь Яринка - опытная подпольщица, боевой разведчик "Молнии" - знает, что не следует брать на себя тайны, которая не касается именно тебя.

Речушка, теряясь в зеленых низинных зарослях, бежит и бежит себе следом за девчатами, смывая их следы, тихая, почти невидимая. А они, с окоченевшими от ключевой воды ногами,

мокрые от обильной крупной росы, идут, пробиваясь сквозь зеленую чащу. Идут, может, уже час, а может, и больше. Яринка уверенно, хотя, по правде говоря, не имея в голове окончательного, твердого плана, ведет. А Настя, чувствуя опытность неожиданной подруги-спасительницы, послушно подчиняется ей, покорно шагает вслед и с каждой минутой все тверже верит, что все будет в порядке.

Речушка сворачивает круто влево и неожиданно вырывается на солнечный простор. Справа высокий, седой от росы ивняк. Слева просторная поляна, заросшая пышным резным папоротником; то тут, то там по ней разбросано несколько молодых дубов. Дальше, за полосой папоротника, обыкновенный крестьянский огород: картофель, грядка свеклы с темно-вишневой, почти черной ботвой, высокие, с сухими зонтиками стеблругкропа, пожелтевшие подсолнухи, фасоль. Между кустами смородины в три рядочка мирные голубые ульи. Чуть дальше - огромный, крытый соломой шалаш, который (как уже потом узнала Настя) назывался мякинником. За ним приземистая, с темными окошками хата, журавль над колодцем, еще какие-то хозяйственные постройки. И над всем этим - кроны могучих древних осокорей.

Из-за них, ослепив девчат, выкатывается в небо багровый солнечный диск, и серебристые стволы деревьев кажутся теперь совсем-совсем черными.

- Наш двор, - останавливаясь, объясняет Яринка. - Выходи из воды, садись вон на пенек, сними сапоги и хорошенько разотри ноги.

Она усаживается в папоротнике, вытирает носками ступни и, обуваясь, продолжает объяснение:

- Тут у нас, конечно, сейчас не спрячешься. Тут, ежели что, Мюллер с Калитовским перевернут все вверх тормашками. Хотя никто еще, вероятно, не додумался разыскивать парашютистов среди пчел, в улье... Стало быть, припрячем пока все твоё снаряжение в ульях. Ну и конечно же тебе следует переодеться во что-нибудь сухое, домашнее. Сиди, грейся, с места не трогайся, а я

сейчас...

Настороженная и возбужденная ночным приключением, Настя заметно устала, замерзла и даже немного раскисла. Круглолицая же миловидная смуглянка Яринка, придя в себя и почувствовав себя хозяйкой, наоборот, преисполнилась энергии и решительности.

Настя теперь во всем подчинялась Яринке и, только когда дело дошло до пистолета и спрятанного в зеленом вещмешке

ящика, особенно ящика, снова насторожилась и запротестовала... Нет, нет, так она не может! Есть такие правила, которых она не будет нарушать, просто не имеет права... Нет, не только потому, что знает ее, Ярпнку, всего час-другой или не верит ей. Не может даже и в том случае, если бы они были знакомы годами! Даже если бы их послали вместе!

И все же Настя под энергичным натиском Ярпнки неохотно сдается. Начинает понимать, что одно дело - фронт, а другое - подполье. К тому же Яринка гарантирует полную безопасность ее вещам. Да и само по себе ясно, что сейчас, пока не пронесет беду с ее парашютом, лучше всего, надежнее всего не держать при себе ни одной подозрительной вещи. Вот, например, пистолет... Ничего он ей здесь не даст. Тут все нужно делать совсем по-другому. Следовательно, лучше не терять дорогого времени. Ведь заметить злополучный парашют могут в любую минуту!.. И, хочешь не хочешь, опускается Настпн пистолет на дно улья, ящик (что это за ящик, Яринка тогда и подумать даже не успела!) устанавливается между рамками, а мешок попадает в одну из двух уцелевших тут издавна дуплянок. Настипа одежда развешивается в хате на колышке возле поставца среди другой домашней одежды.

Солнце, уже поднявшись над верхушками деревьев, полыхает белым пламенем. Отдохнувшие, переодевшиеся девчата готовы к новым странствиям. Перед тем как трогаться, Яринка еще раз с ног до головы осматривает Настю. Повязанная по-деревенски ситцевым платочком, в вылинявшем Яринкином платице, в стоптанных резиновых тапочках, девушка стоит съезжившись, втянув голову в плечи.

"Вот так парашютистка! - думает Яринка. - Скажи кому, ни за что не поверит".

И сразу же такая обыкновенная, такая поразительно простая, такая неожиданно гениальная мысль приходит Яринке в голову:

"Господи! Да зачем же ее куда-то там прятать?! Ну, в самом деле, кому придет в голову, что вот эта веснушчатая девчонка - парашютистка?! Тот же Мюллер на кого угодно может подумать, кого хочешь заподозрить, только не ее, не Настю!.."

Вот и сидит Настя через несколько часов после этого в незнакомом селе Подлеском. Сидит на травке на подворье у Брайченков, как у себя дома. Брайченки эти - старые и бездетные, добрые давние Яринкины знакомые.

О том, что они существуют на свете, еще несколько часов назад Настя даже и не подозревала. А теперь вот... сидит на разостланной дерюжке рядом с пожилой хозяйкой на видном месте, возле калитки.

Сидит и даже ухом не ведет, что именно из-за нее поднялся в селе небывалый переполох, что из-за нее бурлит вся улица, гомонит наспех, в пожарном\цорядке собранная облава. Мчатся в степь, в лес переполненные полициями и немцами подводы. Торопятся пешие и конные.

Рванул на тяжелой бричке сам жандармский шеф Мюллер с начальником полиции и двумя страшнейшими псами-волкодавами...

А Настя сидит себе на дерюжке. Выбивает коротенькой палочкой из сухих шапок подсолнуха семечки...

И, проходя мимо двора Брайченка, иной полицей или гитлеровец порой даже и покосится на нее второпях... Но что ему до какой-то там девчонки! Ему и в голову не приходит... не до девушек ему сейчас, когда вон, говорят, советский парашютист-диверсант возле Зеленой Браны объявился! Новехонький парашют с обрезанными стропами сегодня утром полицей Каганец обнаружил. На верхушке дуба возле Калиновой балки. Обнаружив, бежал три-четыре километра до Подлесного, чуть не лопнул от волнения и страха. Добежал-таки. Доложил начальнику полиции Калитовскому. А тот сразу же со всех:

ног - к жандарму. Жандарм торопливо доложил по телефону в область, забил тревогу...

С этого и началась в тех местах тщательнейшая и строжайшая облава...

Полиции, снимая парашют с дуба, возились больше часа, так он прочно запутался.

На ноги было поднято три района. Лес окружили со всех сторон и прочесывали его с собаками, локоть к локтю, до самого вечера. Парашют перед тем дали обнюхать каждой собаке. Но ни одна из собак следа так и не взяла...

Вечером, разъяренный, раздраженный неудачей и голодный как волк Мюллер, несмотря на явную благонадежность лесника Калиновского, Яринкиного отца, перевернул все вверх дном на его подворье, так, между прочим, и не заглянув ни в один из ульев.

Плыл над землей тихий и теплый августовский вечер.

Оседало к горизонту большое красное солнце. Медово пахло кашкой, душицей и сухим сеном. А Мюллер вывел из хаты, поставил к зеленоватому стволу осокоря Яринкиного отца, потом к другому Яринку и, криво улыбаясь, поводя взведенным парабеллумом, сказал, трудно выговаривая русские слова:

- Советский парашютист- не иголка сена... И лесок этот - не Брянский и не Полесский... Вот что: либо ты, либо твоя дочь где-то здесь спрятали советский парашютист-диверсант... Где вы его

спрятал?..

Яринка окаменела, с ужасом и болью всматриваясь в спокойное лицо отца. Он стоял, молча смотрел вперед, не избегая взгляда Мюллера.

А вокруг полон двор настороженно притихших полицаев, немецких солдат и лютых, яростно рвавшихся с поводков волкодавов.

- Кто-то из вас двоих, - продолжал Мюллер, - спрятал советский парашютист. И вы оба знаете, где он. Точно так же, как и то, чем это вам угрожает. Если вы не признаетесь...

- Лес, господин Мюллер, велик, - к огромному удивлению Яринки, отец даже улыбнулся. - А я хотя и лесник, но не должен и, главное, не могу уследить за каждым человеком, который может зайти в него. В конце концов, у меня не сто рук и не сто глаз.

- Зато у нас сто рук и сто глаз! Мы его обязательно найдем. Но за ночь он успеет перепрятаться в другое место, и это усложнит дело. Возможно, даже успеет учинить какую-нибудь диверсию... А мы убеждены, знаем, что спрятал его кто-то из вас двоих...

- Знаете, господин, если бы я даже захотел... Но хоть верьте, хоть нет, сказать вам ничего не могу...

- Ага. Хорошо, хорошо. Так это и есть твой последний слово?

- Да. Ничего больше сказать вам не могу...

- Так, хорошо... Ты тогда будешь видал... Тогда, когда ты не хочешь сказать правды солдатам фюрера...

Тогда ты вот сейчас будешь видал, как мои зольдатен сначала изнасилуют твою дочь, а потом повесят вон на тот ветка. И все это ты должен смотрел. Сначала смотрел... А потом будешь висел на этот ветка рядом...

Мюллер опустил парабеллум и начал закуривать папиросу.

Промелькнуло мгновение, другое. Темная черточка губ на меловом лице Калиновского дрогнула.

- Я только... я только очень прошу вас... Я хорошо знаю... дочери ничего не известно... Умоляю вас! Вы должны... - Ему, видно, так и не достало силы вымолвить слово "повесить". - Вы должны... меня одного...

Кажется, на какой-то - длительный или короткий миг Яринка даже потеряла сознание, по крайней мере в глазах у нее потемнело...

Когда же она снова пришла в себя, Мюллер уже решил заканчивать свое страшное представление, не разыграв на этот раз его до конца... Кисло улыбнувшись, пряча парабеллум в кобуру, он процедил:

- Я тоже отец... и у меня есть тоже... айн, цвай, драй дочь. И я тебе верю... То есть я не верю, никогда не поверю, чтобы отец ради кого-то там не пожалел родной дочь... Мы тоже, как это... тоже психолог...

Он бросил в траву окурок, растоптал его и сразу же почти бегом бросился к брычке.

И с шумом, лаем, выкриками бросилась за ним со двора лесника и вся его свора...

Ничего этого Настя Невенчанная не знала. В тот день, на следующую ночь и потом еще двое суток она находилась у Брайченков в Подлесном. И тем, кто видел незнакомую девчонку, которая бог знает откуда появилась в хате у соседей, даже и в голову не пришло, что она имеет хоть какое-то, хоть самое отдаленное отношение к советским парашютистам...

Тем временем Брайченко доложил о ней Цимбалу в Балабановку. Цимбал приказал ему послать с этим сообщением Яринку Калиновскую в Терногородку к Роману Шульге.

Через день после того, как Яринка посетила Терногородку, были присланы для Насти Невенчанной новые документы. И стала она теперь согласно этим документам двоюродной сестрой Яринки, родной дочерью Яринкиной тетки по матери. Прибилась эта двоюродная сестра к родственникам из города К., спасаясь от голода, а может... может, и от Германии (подозрение к тому времени не столь уж и ужасное, но очень правдоподобное и удобное в Настином положении).

Насте приказано было перебраться в лес к Калиновским, жить там, не скрываясь, и... ждать.

Ждала Настя в семье Калиновских еще три дня. Ждала, пока хоть кто-нибудь отзовется, подаст весточку.

Ждала хоть малейшего, хоть отдаленного намека на присутствие где-нибудь поблизости советских парашютистов.

Ждала встречи с партизанами, которые должны были быть где-то здесь, в Каменском лесу. А что лес этот именно Каменский, у нее не было ни малейших сомнений, она даже никого не спрашивала.

Никаких слухов о товарищах за это время к ней так и не дошло. Не появлялись и партизаны... Терпение Насти лопалось... Тревога и неопределенность доводили до отчаяния...

В один из вечеров - Яринки в этот момент как раз не было дома, - как только чуточку смерклось, старый Калпновский, войдя в темную кухню со двора, сказал:

- А выйди-ка, Настя, вон туда, к колодцу. Там тебя один человек ждет.

- Какой еще человек? - насторожилась Настя.

- Иди, иди, доченька, не бойся. Свой человек. Если б не знал, разве бы посылал!

Настя остановилась на пороге в сенях, на всякий случай оглянулась вокруг. Было уже совсем темно. С низины из лесу тянуло приятной после дневного зноя прохладой.

Темнела стена черноклена за сараем, возвышались над нею могучие темные контуры осокорей. На фоне звездного неба резко выделялся крючок колодезного журавля.

И нигде, казалось, ни души.

Девушка сошла с порога, пересекла подворье, с наслаждением погружая босые ноги в холодный, покрытый росой спорыш. Обошла длинное долбленое корыто. Как только подошла к срубу, откуда-то со стороны пасеки из темноты шагнули к ней двое.

И хоть было совсем темно, а луна еще не взошла, девушка сразу каким-то необъяснимым чутьем в одной из этих фигур узнала своего.

- Мамонька моя! Павле! Честное слово, макуха...

В самом деле макуха, - встретила она его шуткой, хотя голос и изменил, задрожал. А губы сразу же стали сухими и непослушными. - Ну и ну! А все остальные?

Павло Галка явился с каким-то незнакомым, наверно местным, парнем. Он принес Насте питание к рации, приказ капитана Сапожникова о том, чтобы оставалась она до нового распоряжения у Калиновских, и зашифрованное старшим лейтенантом Лутаковым донесение в штаб фронта:

"...Неизвестным причинам приземлились районе "Белого пятна", Терногородка - Новые Байраки - Скальное. Районах действуют подпольная организация и партизанский отряд "Молния". Все сборе. Ждем указаний, Капитан Сапожников..." Ответ поступил сразу же: "Оставаться месте приземления. Базироваться на "Молнию", Радируйте ваши нужды. Приступайте выполнению намеченных заданий. Желаю успеха. Майор Шовкун".

Донесение и ответ на него Настя передавала и принимала шифром, не зная их содержания. И потому единственная из всего десанта так и не поняла, что упала она с того дуба совсем не туда, куда планировалось. Никто из десантников из-за более важных хлопот тоже не объяснил ей этого сразу. Поэтому долго еще, выстукивая зашифрованные донесения и принимая такие же приказы-, Настя даже не предполагала, не догадывалась о своем неведении. Когда же, значительно позднее, она случайно узнала об этом, все это уже не имело ни для нее, ни для дела в целом ни малейшего значения.

КАПИТАН САПОЖНИКОВ

С момента появления той первой шифровки из района "Молнии" пронеслось уже четверть столетия. Рассказы об этих событиях для моей дочери звучат чуть ли не как древняя история. В этом нет ничего удивительного: ведь ее тогда и на свете не было. Что же касается меня и моей жены, то происходило это словно бы вчера: ведь это была наша молодость. Молодость, которая никогда не стареет.

И еще: были это дни нашего великого счастья боевого, которое выпадает на долю человека на войне в конце концов не так уж и часто... Три раза выбрасывался я во вражеский тыл, и такое счастье, чтобы все десантники остались в живых, чтобы группа, не понеся никаких потерь, за короткое время, в непредвиденно трудных обстоятельствах собралась полностью в одно место и приступила к выполнению боевого задания, такое боевое везение испытал я тогда впервые. Хотя даровано оно нам было не случайно, не по воле слепого стечения обстоятельств, потому что не "Белым пятном" была земля, на которую мы опустились в эту ночь. Встретили нас там свои, родные советские люди, встретило грозное и короткое, как выстрел, слово "Молния". Они собрали нас воедино и повели в бой. Мы полностью и своевременно выполнили задание командования и через семь месяцев живыми и невредимыми возвратились в свою часть.

И уже потом, значительно позднее, когда разошлись наши жизненные дороги, по-разному сложились и наши судьбы.

Первыми ушли от нас наши "святые" - Петро и Павле. Они как жили, не разлучаясь, так и погибли вместе, в одно время где-то за Одером. Прокладывая путь нашей пехоте, подорвались на mine буквально накануне долгожданной Победы. Смертью храбрых погиб при взятии Будапешта и Герой Советского Союза подполковник Семен Лутаков, оставив после себя добрую славу и бронзовый бюст на площади в Терногороде...

Из нашего тогдашнего десанта в живых остались четверо.

Левко Невкыпильный совершенно неожиданно для нас закончил медицинский институт, стал кандидатом наук и знаменитым хирургом.

Парфен Замковой уже несколько лет работает секретарем областного комитета партии в одной из сибирских областей.

Бывший капитан Сапожников, то есть я, нынче главный агроном зернового совхоза, а моя жена Анастасия (бывший ефрейтор Настя Невенчанная) учительствует.

Все мы, бывшие десантники, живем и работаем далеко друг от друга. Видимся редко. У каждого множество всяких забот и

работы по горло. Потому, по правде говоря, и письмами друг друга не балуем. Главным образом поздравляем с Днем Победы или другими большими праздниками. Но зато много и искренне обещаем друг другу "теперь уж обязательно, как только наступит май", съехаться вместе и вспомнить былое... А тем временем постепенно стареем...

Мы с Настей вырастили и воспитали дочурку Яринку.

Еще два года назад сильно переволновались, пока она поступила в университет. Потом до слез радовались, провожая на учебу в далекий город. Теперь же грустимкручинимся без нее и считаем месяцы, недели и дни, ожидая очередных каникул. По ночам, особенно осенним и длинным зимним, не сразу засыпаем, все чаще и с большой охотой погружаемся в прошлое, вспоминаем былое, все те кажущиеся теперь просто невероятными приключения, испытания и огорчения, которые нам пришлось пережить и преодолеть. Вспоминаем не только с удивлением, но иногда и с чувством страха: как только сумели мы выдержать и перебороть все это? И радуемся тому, что наша дочь Ярннка не испытала всех этих ужасов в своел юности. Радуемся, но, если говорить откровенно, не заведем ей и не сожалеем о том, что пережили сами.

Скорее гордимся, что выстояли, победили, подчинили собственной воле испытания и смертельные опасности. Готовы, если понадобится, повторить все это, несмотря на возраст, и сейчас... Только тревожно на сердце становится, когда о дочери, о Яринке, подумаешь... Не хотелось бы, ох как не хотелось бы, чтобы пришлось и ей во вражеский тыл с парашютом выбрасываться, идти в ночную разведку. Хочется, чтобы не война, не минные поля, а нива колосистая или безбрежность мирного космоса расстилались перед нею! И все-таки... все-таки, дочка, жизнь складывается так, что нам и сегодня следует держать порох сухим. И при всем том, что нам очень не хотелось бы, но ежели... ежели встанет и перед нашей дочерью такая необходимость, тогда - не одной лишь надеждой утешаем себя, нет, верим, твердо знаем, - тогда ьаша дочь так же, как и мы когда-то, приказов ждать не будет...

Июль 1969